Алексей Югов

# Судьбы родного слова



АЛЕКСЕЙ
ЮГОВ

# СУДЬБЫ РОДНОГО СЛОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1962

8-4Р
Ю-15

Новая книга А. Югова — итог его многолетних раздумий о языке русской литературы.

Основу книги составляют выступления писателя в той дискуссии, которая в последние годы развернулась на страницах газет и журналов.

Заключают ее статьи-изыскания автора, внесшие новое понимание целого ряда мест известнейших литературных памятников.

А. Югов ратует за народность литературного русского языка, за обогащение письменного языка формами устного (завет Пушкина), за его слитие с живым языком трудового народа. Автор выступает против обеднения нашего языка, против «безудержной языковой интервенции» — продолжающегося бессмысленного засорения русского языка ненужной иностранщиной.

Книга А. Югова — пламенный спор с современными лжеучеными запретителями и педантами, потомками гречей и сенковских, которые мешают свободе нашего богатого и прекрасного языка, своей деятельностью наносят невосполнимый урон нашему величайшему достоянию.

«Народом-языкотворцем» называл русский народ Владимир Маяковский. А всемирно известный писатель, классик французской литературы Проспер Мериме утверждал, что русский язык «прекраснейший из всех европейских языков...», «необыкновенно приспособлен к поэзии», потому что «педанты не успели внести в него свои правила и фантазии».

Книга А. Югова в убедительной и предметной форме раскрывает замечательные — и часто еще плохо используемые — особенности русского языка, которые так восхищали великих писателей. Это достоинство книги А. Югова делает ее в особенности полезной. И в первую очередь она вдохновит и вооружит знаниями наше юношество в борьбе за народность, выразительность и силу русского языка.



«Ни тени ущерба
виною нашей
да не претерпит наш язык».

*Святополк Чех*

## ЭПОХА И ЯЗЫКОВОЙ «ПЯТАЧОК»

ДОВЕЛОСЬ мне как-то прослушать в народном суде одно бытовое дело. Спрашивают свидетельницу. Лифтерша. Седая женщина.

— Скажите, свидетельница, из-за чего испортились отношения между вашими соседями?

— Право, не знаю, — последовал простой и короткий ответ.

Вызывают другую. Молодая особа. Яркая. Секретарша одного учреждения. Вопрос — тот же самый. Повела плечом, скривила губы и этаким протяжно-изнеможенным голосом:

— Абсолютно не в курсе дела!

И еще мне вспомнилось. Рассказывал мне Борис Викторович Шергин, этот — и в сотый раз не премину сказать! — замечательный русский писатель, под стать Пришвину и Бажову, писатель, сильно способствовавший вокнижению севернорусской речи. Слушал он однажды, как наставляли своих учеников, будущих исполнителей былин и сказаний, сперва одна руководительница, а затем другая. Первая была почти неграмотная. Просто — сказительница. А другая — фольклористка, кандидат наук. Будущих чтецов народного художественного слова,

естественно, волновал вопрос: что и для кого читать?

— Слово к человеку примеряйте! — кратко посоветовала им сказительница.

— Ориентируйтесь на интеллектуальный горизонт, на сферу интересов аудитории! — изъяснила другая.

Поняли, конечно, но ведь ни одного же русского словечушка! Частные как будто примеры, но их же неисчерпаемое множество. И житейская наша речь и художественная русская литература невероятно засорены иностранными словами и синтаксическими оборотами, при этом без всякой надобности, а просто в силу некой умственной лени, небрежения к родному языку, чем кичились в былые времена гуляющие по заграницам дворянчики. Свидетельством того, что именно от дворянского сословия исходила зараза безнародности, сиречь космополитизма, могут быть, среди множества прочих, хотя бы эти строки Бестужева-Марлинского: «Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому... К довершению несчастья, мы выросли на одной французской литературе, вовсе несходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка».

Но помилуйте, скажут, не слишком ли уж далекие «предки»? Да нет, эту же самую «родословную» называет и Ленин в своем гневном выступлении против засорения русского языка ненужной иностранщиной.

Прямую опасность для развития русского языка, для его самобытной силы и красоты усматривали в этой «языковой интервенции» великие и даже величайшие люди нашей Родины — от Ломоносова до Ленина. И не ради наклонности к цитатничеству приведу я сейчас несколько таких суждений, а чтобы видна была историческая преемственность борьбы. Застрельщик ее, холмогорский крестьянин-помор Михайло Васильевич Ломоносов сказал: «Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обраще-

ниях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи».

А дальше, посмотрите же, какие имена стоят в перечне этих борцов! Виссарион Белинский: «И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово — значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать».

Высказывание, не допускающее двух толкований! И это — Белинский говорит, который, как ведомо, отнюдь не принадлежал к неистовым гонителям всякого иностранного слова.

Тургенев был еще решительнее: «Берегите чистоту языка как святыню. *Никогда не употребляйте иностранных слов.* Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас» (курсив здесь и дальше мой. — *А. Ю.*).

А вот — Герцен: «Я первый снимаю с себя вериги чужого языка и снова принимаюсь за родную речь».

Редко вспоминают у нас в спорах о засорении русского языка варваризмами суждение Горького: «Нет смысла писать «конденсация», когда мы имеем свое хорошее слово — «сгущение».

Еще реже — Маяковского, который считал одной из важнейших задач поэтов — «...сделать язык русским».

Замкнем этот краткий обзор возвратом к суждениям В. И. Ленина. Писателям они в особенности памятны, ибо как раз писателям и не прощал Ленин употребления иностранных слов без надобности. И вот что особенно в этих ленинских суждениях останавливает внимание литераторов: считая иностранное слово «дефекты» излишним, Владимир Ильич предлагает вместо него щедрый выбор русских синонимов: *пробелы, недочеты, недостатки.* А ведь в этом, именно — в синонимическом знании народного словаря, и есть корень знания писательского.

Была же у Ленина возможность назвать свою гениальную статью о коммунистических субботниках «Великая инициатива». Однако он предпочел — «Великий почин», то есть призвал к литературной жизни слово старинное, почти вышедшее из книжного обихода, коренное русское слово.

Писатель, зодчий художественного слова, должен вместить в свое сердце, в свое сознание весь (без скидок!) словарь своего народа. Стоит ли здесь оговаривать, что словарь и речестрой нераздельны! Словаря без синтаксиса и не бывает. Однако разговор о писательском синтаксисе, всегда стилистическом, личном, о соотношениях его с житейской речью народа и его устной словесностью, — это разговор особый. Здесь же — только о словаре.

На Севере живая речь народа еще сохранила одно замечательное речение:

— А он и слова не доискался!—Какое горе испытываешь, когда пришлют тебе «сигнальный» экземпляр твоей книги, и вдруг увидишь, что и здесь-то ты «не доискался слова», да и вот здесь тоже! А уж исправлять поздно! Того тошнее газетчику: ему-то еще чаще, чем «романисту», приходится переживать эту запоздалую скорбь по ненайденному слову: времени-то у него всегда в обрез. А работа у нас одна: через слово овладеть жизнью, строить жизнь.

Писатель — это словарь! Сейчас же начну оговариваться. Словарь народа — это ведь и мышление народа; это его история, его быт и труд. Ибо мысль неотрывна от слова; слово человеческое всё в мире объясняет, объемлет, отражает, всему — и вещественному и отвлеченному — соответствует. Слово — это великий зодчий всей культуры, всей цивилизации человечества. Труд и речь!

Потенциально каждое слово бессмертно. То есть, точнее говоря, оно может на целые столетия пережить свое материальное соответствие. Даже самое обветшалое слово, объявленное заведомым архаиз-

мом, может вдруг воскреснуть, повинуясь законам языка, употреблению народному, отвечая требованию момента и эпохи. Зачастую — обернувшись другим значением, облеченное в другую семантику. Явление общеизвестное. *Шлем* витязя вымер. Зато появился шлем танкиста и водолаза. Давно уже не воюют *мечом.* Однако Нюрнбергский процесс обрушил «меч правосудия» на головы преступников против человечества. И на одном из памятников Европы, освобожденной от фашизма, советский воин, отечески держащий на одной руке спасенное им дитя, другой рукой грозно опирается на исполинский меч. Не надо торопиться с погребением слов. Не существует «глухонемых пластов» языка. Не последнее место принадлежит здесь воле и чутью художника слова. Кто до войны помнил слово «упредить»? А теперь выражение «упредить врага» понятно каждому. И это слово очень точное. Это не совсем «опередить». Это и — предвосхитить намерения врага. Здесь — быстрота и боевой, наступательный дух.

Подобных примеров каждый припомнит сотни, если не тысячи. Остановлюсь еще на одном архаизме, он особенно любопытен: *вратарь.* Кто из болельщиков футбола вспоминает, что это очень и очень древний славянизм! «Врата» никто не говорит. А вот «вратарь», да еще с вымирающим суффиксом «арь» (ключарь, звонарь, букварь, пахарь, лекарь), стало современнейшим словом.

Писательское знание словаря — это знание такое, которое придает языку писателя и мыслеёмкость, и точность, и вещественность. А эти три качества можно назвать пушкинскими атрибутами художественности, ибо этих именно непременных достоинств требовал Пушкин, их воплотил. Прозу он называл «языком мысли». Он хвалил Дельвига за то, что тот наконец-то достиг точности в языке: «Дельвиг, Дельвиг! Пиши ко мне и прозой и стихами; благословляю и поздравляю тебя: добился ты наконец до точности языка — единственной вещи, которой у тебя недоставало».

Эти непременные три качества литературного языка писатели всегда обретали в живом языке трудового народа и через непременную, усердную и непрерывную работу над словарем. Да, да, над словарем, над лексиконом. До конца дней своих! «Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего?»—задавался вопросом еще Карамзин. И присоединялся к мнению Вольтера: «Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному».

Спросите врасплох любого из нас: что такое *исток, устье, стрежень* реки? Или: что такое *предел прочности, изверженные породы, водобойный колодец, бетон, шатун, поршень, маховое колесо, кривошип, коробка передач* и т. д., и т. д., — ответим ли? Помилуйте, нельзя же быть ходячей энциклопедией!

Как не вспомнить нам и здесь горькие сетования Пушкина, который говаривал Владимиру Далю: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!»

Мы заговорили о том, что истинно писательское знание словаря есть непременно тончайшее знание синонимов.

*Путь* и *дорога* не одно и то же. «Высокий путь советского журналиста» нельзя заменить выражением «Высокая дорога советского журналиста».

Замечательный образчик тончайшего различения синонимов оставил нам Фонвизин в своем «Опыте российского сословника». Он разбирает слова *робкий* и *трусливый*: «Робкий бежит назад, трусливый нейдет вперед; робкий не защищается, трусливый не нападает. Нельзя надеяться ни на сопротивление робкого, ни на помощь трусливого».

А что, если бы этак вот знать весь язык, весь словарь? Как бы это сократило пресловутые «муки слова»!

— А зачем? — слышится возражение. — Что за беда, если вместо «робкий» я поставлю «трусли-

вый»? Неужели ради таких тонкостей я должен освоить и удержать в памяти весь огромный словарь Даля? Когда ведь подсчитано, что даже у наиболее богатых по словарю классиков количество слов не превышает двадцати пяти тысяч.

Разве не приходилось вам слышать такого рода возражений? А мне приходилось.

И вспомнилось мне. В дельвиго-пушкинской «Литературной газете» вычитал я одно удивительное сообщение. Вот оно полностью:

«В одном весьма занимательном сочинении знаменитого Гёте сказано, что в Риме художники, делающие мозаические картины, употребляют 13 000 различных красок, из коих каждая имеет 50 оттенков, от самого темного до самого светлого, что составляет 750 000 разных теней *, весьма легко отличаемых художниками. Казалось бы, что, имея в своем распоряжении 750 000 красок, можно передавать во всей точности всякую живописную картину; но художники при таком удивительном избытке жалуются еще на недостаток некоторых необходимых теней».

Я склонен рассматривать эту заметку, напечатанную при самом основании «Литературной газеты», в январе 1830 года, как своего рода декларацию Пушкина. Вряд ли мы ошибемся, если примем, что он, который, по определению Гоголя, более всех, далее всех раздвинул границы русского языка и более показал все его пространство, — он напечатал эту заметку как призыв к писателям, чтобы и они были так же ненасытны и требовательны, как те художники-мозаисты.

Это вовсе не парадокс, что краткость, сжатость слога рождается от изобилия; скупость в слове — от преизбытка словаря, которым обладает писатель.

— Дайте же и нам, писателям, право и возмож-

---

* По-видимому, опечатка в самой заметке: надо—650 000.— *А. Ю.*

ность выбирать из 750 тысяч красок и оттенков! — как бы требовал этою заметкою Пушкин от Греча и Каченовского, от Сенковского и Булгарина, от всех тех, кто травил его за расширение литературного языка в сторону «просторечия», кто издевался над «простонародностью» его языка, запрещал Пушкину такие слова, как *дровни, тын, усы, визжать, вставай, рассветает, ого, пора,* обзывая их «низкими, бурлацкими»; кто, по выражению Белинского, считал Пушкина «исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия...».

Увы! Целый век и еще четверть столетия минули с тех пор, как великий основоположник русского литературного языка, борясь за его слитие с живым языком трудового народа, провозгласил: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». За это время были у нас и Крылов, и Лев Толстой, и Маяковский — подлинно исполины в этой борьбе за народность литературного русского языка, за вокнижение не только словаря трудовых масс, но и неразрывного с ним речестроя. А что же, а что же?! Одержало ли полную победу великое движение, зачинателем коего был Пушкин? Угомонились ли сенковские, каченовские и гречи наших дней? Нет и нет!

Напротив, вопреки тому непреложному факту истории, что в нашем Отечестве вот уже более сорока лет, как рабочий класс и трудовое крестьянство взяли государственную власть в свои руки и строят коммунизм, вопреки тому факту, что творцы художественного слова ныне почти сплошь из рабочих и крестьян, им, писателям и поэтам, приходится претерпевать упорный и, я бы сказал, «хронический» натиск в такой великой области народной культуры, как русский литературный язык. Прислушайтесь к сетованиям писателей и поэтов: редкий из них не припомнит горьких для него случаев, когда он вынужден был под давлением «священно-непререкаемо-

го» справочника выбросить то или иное слово, а иногда и выражение по причине якобы «нелитературности» оного. За последнее время у нас не было недостатка в грубых и всегда мнимоученых окриках за «просторечие», «провинциализмы», «диалектизмы» в языке того или иного писателя. Кто во что горазд!

Иной «учительствует», что нелитературным-де является сложный предлог «вз» в функции приставки: «я взлез на телегу», к примеру. И вот исправляют «вз» на «в». «Я влез на телегу». Хотя каждому русскому человеку ясно, что первое — точнее. Тщетно возражает писатель:

— Да вот же у самого Тургенева: «взлез на телегу».

— Ну, мало ли что Тургенев!

И весьма возможно, что сей безнадежный спор будет прикончен справкою из так называемого «ушаковского» словаря, где слово «взлезть» опорочено, — а на каком основании, одному аллаху ведомо,—пометкою «разговорное» (то есть, понимай, «нелитературное»). Как же нам быть-то теперь? Каким словом заменить этот глагол? «Влезть»? Но влезают во что-либо. Влезть на дерево нельзя.

Постоянны жалобы, что изгоняется из литературного языка множество наречий, междометий, так называемых «модальных частиц» за их якобы простонародность, нелитературность. Некоторые молодые писатели на семинарах прозы всерьез спрашивали меня: а можно ли писать «хоть» или всегда нужно «хотя»? Можно, говорю, и привожу из Пушкина: «*Хоть* и заглядывал я встарь в Академический словарь».

— А у нас, — говорят, — вычеркивают.

— Почему?

— Простонародное, нелитературное.

Почти непременно, уверенно и бестрепетно изгоняется отглагольное наречие «нету» за его якобы «простонародность», нелитературность. И напрасно вы будете ссылаться на Льва Николаевича:

«Прочел и понял, что таланту у меня положительно *нету*».

— Ну, мало ли что Толстой позволял себе в языке! Вы не Толстой.

Но и не только народный, или, как принято выражаться, «просторечный», словарь подвергается гонению; синтаксис — тем более. Под опалой «запретителей» находятся — и уже много лет! — хотя бы так называемые «присоединительные связи» русского языка, свойственные в особенности устной речи народа, но многократно воплощавшиеся и в творениях наших классиков, те самые присоединительные связи, которыми, по словам академика В. В. Виноградова, Пушкин поразил своих современников.

Нужно откровенно сказать, с бедой вкусового, мнимонаучного запретительства еще можно было бы совладать, если бы рядовые запретители не находили себе опору в дурной, заведомо обветшалой традиции некоторых наших лексикографов, которую они без должного пересмотра восприняли *от старых, дореволюционных времен*.

У нас вошло в дурной лексикографический обычай пятнать словарь русского народа неодобрительными и даже прямо запретительными пометами: «просторечие», «областное», «разговорное», «устарелое»; а еще, когда речь идет о каких-либо орудиях труда, то в большом ходу помета: «спец», то есть специальное, «ножовка» (пила) — «спец»; «коловорот» — тоже «спец». Скоро доживем до того, что и «гвоздь», и «лопата», и «топор» будут «спец»!

Посмотрим же, от каких слов «предостерегают» советских граждан. Это не цитаты, я считаю это горсточкой улик.

*«Авось»* — сложное наречие, издревле общенародное. Надо ли разъяснять его изумительную выразительность и мыслеемкость? Вероятно, ни один из русских классиков не отказывал этому наречию в литературности. Не чурались они этого слова и в поэзии, исполненной лирики: *«Авось* на память поневоле придет вам тот, кто вас певал» (Пушкин).

У Гончарова: (Штольц) «неспособен был... броситься на стену *на авось*». Правда, в академическом словаре 1789 года это слово объявлено было «простонародным». И вот «хвост» этого отвержения от литературных прав тянется и к нашей лексикографии: в новом академическом словаре 1957 года «авось» снабжено пометою «разговорное», то есть опять-таки не вполне литературное. А почему, спрашивается?

Надо быть решительно тугим на ухо в русском языке, чтобы «предостерегать» русского человека против таких слов, как «позариться» (и пример-то ведь дан какой чудесный: позариться на чужие деньги); «пожива»; «подмащивать» (несовершенный вид глагола «подмостить»); «подмоклый», «понабрать» (понабрал повсюду работы, еле справляется); «понавидаться» (понавидался разных диковин); или вдруг объявить, неведомо почему, сложный предлог «по-за» «областным» (?!). Позволю себе спросить, какая же из областей нашего Отечества является счастливым обладателем этого сдвоенного предлога? Курская, Вологодская, Московская? А пример-то дан из Гоголя: «Здесь Чичиков... скорее за шапку да *по-за* спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо».

Наречие «походя» тоже объявлено лишь «разговорным», а пример приведен из трудов Ленина: «Мы решали вопросы буржуазно-демократической революции *походя,* мимоходом...»

«Прясло», сказано: «областное». А примеров — два: Кольцов и Александр Блок. «Вот уж осень на двор через прясло глядит» и «Высоко из прясла торчит конец жерди».

«Пособить» снабжено также запретительной пометой. Примеры же из Крылова и Гоголя: «Просит горю пособить». И «Плачем горю не пособишь, нужно дело делать». Эта же участь постигла слова *беремя, трухляветь, хлебать*. Любопытно, что пример к слову «беремя» в одном из академических словарей взят из Салтыкова-Щедрина: «Истопник... явился в комнату, неся... беремя дров». В «Словаре Акаде-

мии Российской» 1789 года, о котором наши лексикографы пишут, что, дескать, этот словарь исходил из классовых, дворянских позиций в языке, а потому многие народные слова изгонял из литературы, — в этом дворянском словаре глагол «хлебать» никакой пометой не опорочен: *«Хлебаю, хлебнул.* Ем ложкою какую похлебку, или другую какую жидкую яству». А тут вдруг — «простореч.», то есть, повторяю, «предостережение».

«Прядать... устарелое и областное» (?). А примеры — Тютчев и Горький: «Тебя он прядать научил, играть, скакать на воле...», «Уши у него... постоянно прядали, как у пугливой лошади».

«Непогодь» — областное (?!). «Только в непогодь воешь жалобу на безвременье» (А. Кольцов).

«Зимник. Дорога, которой пользуются только зимой, по которой нельзя ездить летом. Областное (?!)». «Вот он едет зимником по реке... с возом на мельницу» (Салтыков-Щедрин). «Пробурить» — «спец». А к слову «почин» две неодобрительные пометы: «областное» и «просторечное». Примеры же — Чехов и Ленин («Великий почин»).

Павел Петрович Бажов дал такой отзыв об этом словаре: «Обычный недуг этого словаря: в нем *никогда* не найдешь того, что *особенно* нужно». (Подчеркнуто мною. — *А. Ю.).*

В 4-м издании «Толкового словаря» Даля было представлено 220 тысяч русских слов. В названном четырехтомном словаре коллектива составителей их только... 85 тысяч. То есть исключено из литературного языка, страшно молвить, 135 тысяч слов. Да еще из оставшихся-то многие снабжены пометою предостережения.

В древней Руси было уголовное наказание: «языка урезати». Но, право же, советские писатели и поэты не заслужили этого!

Было бы отчего прийти в отчаяние, видя, как благодаря нездоровому течению запретительства все ширится и ширится разрыв между еще не успевшим вокнижиться живым языком народа и языком литературным! Ведь этак пройдет еще пять-шесть

лет, и огромнейшие, ныне еще живые, огнепышущие «пласты» языка, изгоняемые из жизни, очерствеют, залягут под нафталин в сундуках фольклористов, а потом пойди оживи их! Какое чудовищное расточительство сил и достояния народа!

Писателей и поэтов великой эпохи теснят на языковой «пятачок» словарники и «узаконители» ветхого, каченовско-гречевского закваса.

К счастью, и здесь, как всюду, мудрость Коммунистической партии указала нам выход — благотворный и скорый. Выход этот — в трудовой перестройке всего нашего образования.

Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР, принятый Верховным Советом, будет иметь еще и могучее воздействие на судьбы литературного языка. Этот закон вернет живой, рабочей речи ее право быть неотъемлемой частью языка великой нашей литературы.

Герой современности — это и тракторист, и доярка, и слесарь, и плотник, и строитель, и агроном, и летчик, и конструктор, а не только человек гуманитарных наук.

В Записке Н. С. Хрущева справедливо указаны изъяны прежнего обучения в школе: «Наша общеобразовательная школа страдает тем, что мы очень многое взяли от дореволюционной гимназии, ставившей своей целью дать выпускникам определенную сумму абстрактных знаний, достаточных для получения аттестата зрелости». Далее прямо говорится, что даже и теперь в некоторых семьях проявляется барски-пренебрежительное, неправильное отношение к физическому труду.

Это же барски-пренебрежительное отношение к труду и к трудовому народу, укреплявшееся не только одними гимназиями, а и всей системой классового общества, сказалось и в презрительном отрицании законнейшего права трудовых масс участ-

вовать своей живой речью, всем своим жизненным укладом в созидании великого общенародного литературного языка.

Скоро мы станем свидетелями и участниками грандиозной трудовой перестройки всего воспитания человека, и в семье и в школе, от младых, как говорится, ногтей.

«Самое главное в этом деле — надо дать лозунг и чтобы этот лозунг был священным для всех детей, поступающих в школу, что все дети должны готовиться к полезному труду, к участию в строительстве коммунистического общества».

Отсюда — свет!

Трудовая перестройка школы очень скоро скажется и на языковом воспитании подростков и юношества, на представлениях молодежи о языке.

Над пометами «просторечное», «простонародное», «спец» они только посмеются. Труд физический на социалистических полях, в мастерских школ или на заводе станет для них любимым, священным. Они будут с детства любить и знать и орудия своего труда, и станки, и машины. Какое уж тут «спец»!

Это приведет к широчайшему, глубинному и вещественному знанию языка.

Больше доверия свободному, самостоятельному языковому мышлению самого учителя, самого редактора! Сколь многие из них обладают уже и своими трудами по русскому языку и учеными званиями. И всё же они обязаны следовать повелительному гнету научно необоснованных справочников и целого ряда брошюр по «стилистике», от которых веет затхлым духом пиитики Кошанского. Необходимо дать и учителю русского языка и редактору свободу в языковом мышлении, и тогда редко кто из них пойдет в ряды вкусовых запретителей, — огромное большинство их станет под знамя таких грамматистов, как Буслаев, Шахматов, Бодуэн де Куртенэ, Пешковский и В. Чернышев. Заветом же этих мыслителей языка — и учителям и писателям — было: глубинная народность литературного

языка, смелое воссоединение устноречевой и книжной стихии.

Только океан народного языка даст писателю и поэту слово, равновеликое деяниям советского народа, строителя коммунизма!

## О НАРОДНОСТИ ПИСАТЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

СОЗДАТЕЛЬ и носитель языка — народ. «Народом-языкотворцем» чудесно и справедливо назвал русский народ Владимир Маяковский.

Язык русский! Широко известны восторженные суждения о русском языке, принадлежащие великим людям нашего Отечества. Но, быть может, не все знают, что суждение классика французской литературы Проспера Мериме о языке русском также было поистине дифирамбическим. «Это прекраснейший из всех европейских языков, не исключая и греческого», — утверждал великий французский прозаик. При этом Мериме сделал любопытное замечание о чисто художественных свойствах и возможностях русского языка: язык этот, говорит он, «необыкновенно хорошо приспособлен к поэзии». Почему же? А потому, оказывается, что «педанты не успели ввести в него свои правила и свои фантазии».

Проспер Мериме изучал русский язык. Он переводил Гоголя. Последнее же замечание его прямо касается нашего предмета — народности литературного (книжного) языка — и невольно сопоставляется с тем историческим фактом, что в это же самое время великий современник Мериме, основоположник русского литературного языка — наш Пушкин — в неравном бою отбивался от яростных атак лжеграмматистов, врагов живого народного языка, отсекавших его начисто от языка книжного. Пушкин и опровергал раболепных почитателей «тяжелого педанта Готшеда», немецкого филолога XVIII века, и высмеивал их попытки набить колодки готшедовской грамматики на русский язык. «Готшедовцы», галломаны, «бутырские критики» — стан врагов Пушки-

на (Каченовский, Сенковский, Греч, Булгарин и прочие) — с пеной у рта атаковали язык его произведений, в особенности его словарь. «Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык!» — возмущались они. «Житель Бутырской слободы» (некий ученик Каченовского) приходил в неистовство от просторечия «Руслана и Людмилы». «Позвольте спросить, — писал он, — если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородой, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться!»

Вспоминая об этой борьбе Пушкина за воссоединение «просторечия», то есть житейской, бытовой речи русского народа с языком литературным, Белинский писал: «Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, а фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтоб уничтожить эти австралийские табу в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина, — так они мелки и жалки: но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина — исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия...»

Чем же защищался Пушкин? Это очень и очень знаменательно: он защищал свой язык ссылкой на просторечие, на то, что так говорят «простолюдины во многих наших губерниях». «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка», — заключает Пушкин, защищая слова «хлоп», «молвь» и «топ». «Слова сии коренные русские». И далее: *«хлоп* употребляется *в просторечии* вместо хлопание, как *шип* вместо шипения» (курсив мой. — *А. Ю.).*

В этом же своем ответе на разбор четвертой и пятой глав «Онегина» Пушкин обращается к молодым писателям со следующим призывом: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть

свойства русского языка». Здесь же провозглашает он свое мудрое положение, которое и по сие время не утратило истинности: «Грамматика наша еще не пояснена».

Отвечая на попреки критиков «Евгения Онегина», что вместо принятого в книжном языке сравнительного «как» стоит у него «что», Пушкин пишет: *«Что звук пустой»* вместо «подобно звуку», «как звук». Частица *что* вместо грубого *как* употребляется в песнях и в простонародном нашем наречии, столь чистом, приятном. Крылов употребляет *«что»*. И опять мы видим помету NB, и снова — призыв к литературной молодежи: NB. Кстати о критиках. Вслушивайтесь в простонародные наречия, молодые писатели, — вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах...» Примечательны здесь те эпитеты, которые прилагает Пушкин к «простонародному наречию»: оно у него в высокой степени и *чистое* и *приятное*. Это — вызов. Это — программа! В другом месте он смеется над тем, что литературная братия — Булгарин, Греч, Каченовский — «находит одно выражение *бурлацким,* другое *мужицким»* и «гнушаются просторечием».

Взгляды Пушкина на сложение, на историю образования литературного русского языка намного опередили свой век и вряд ли вызовут возражения у кого-либо из современных представителей языкознания и литературоведения. Так, например, один из основных вопросов для каждого писателя — вопрос о соотношении «просторечия» и книжного языка — представляется Пушкину следующим образом. С возникновением письменности, с появлением древнерусской литературы «простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей»*.

В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин осуждает в ломоносовской прозе ее «схоластическую величавость, полуславенскую, полулатинскую» и, говоря о заслугах Карамзина в создании современного литературного языка, указывает, что достиг

своей цели Карамзин широким *вокнижением живого* народного языка: «к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова».

Здесь Пушкин несколько «передал» хвалы своему предшественнику: да, Карамзин обращался к источникам живой речи, но в первую очередь он почитал своим долгом вокнижить живую речь великосветского общества; ее, а не язык многомиллионного трудового народа он считал «литературной нормой». Ограничивая себя в лексиконе салонно-жаргонными нормами, Карамзин тем самым подсекал себе крылья и как художник-реалист и как реформатор книжного языка. Хотя, по чудесному выражению Белинского, Карамзин «совлек русский язык с ходуль латино-немецких конструкций», то есть усовершенствовал синтаксическую структуру литературной речи, тому же Белинскому принадлежат слова, что Карамзин *«презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников»* (курсив мой. — *А. Ю.*). Впрочем, свое суровое замечание Белинский не распространяет на карамзинскую «Историю». «Но он исправил эту ошибку в своей «Истории», — заключает критик.

А между тем самоочевидно, что живой-то великорусский язык, которым вся Русь говорила, на котором слагала свои песни, былины, сказания, пословицы, поговорки и загадки, — его-то и нечего было «совлекать с ходуль латино-немецких конструкций», ибо он на них и не думал никогда становиться! У этого языка издревле была своя грамматика, отличная от готшедовской, свой словарь, свои обороты и... своя поэтика, запечатленная в образцах устной словесности, да и не только в них, а и в целом ряде произведений древнерусской литературы — начиная от «Слова о полку Игореве», кончая протопопом Аввакумом, чьи повествования воспринимались и Тургеневым, и Толстым, и Горьким как могучее, самобытное по языку и чисто народное произведение.

Вот чего не понял Карамзин и вот то, что глубо-

ко, уже вскоре после своего лицейского, отроческого периода понял великий Пушкин!

Но и «сам Пушкин не был бы полон без Крылова», — снова должны мы повторить глубочайшую истину, сказанную Белинским. Крылов — вот уж кто не «презрел идиомами русского языка»!

Живая житейская, бытовая речь русского народа, то есть именно то, что мы и понимаем под термином «просторечие», хлынула, как никогда, через басни Крылова в литературный язык, заставляя, вероятно, корчиться не одного поклонника салонного жаргона.

Басни Крылова у каждого из нас с детства на устах. Подобно бессмертной комедии Грибоедова, они еще при жизни Крылова разошлись в пословицах и поговорках. И нет нужды приводить из них выдержки. Однако придется, хотя и очень сжато, сказать о некоторых чисто внешних признаках народности их языка.

Уточним термин: любое обсуждение какого угодно предмета становится более плодотворным, если договориться о содержании, которое мы вкладываем в термин. Под термином «народность литературного языка» мы будем понимать *степень органического слияния книжного языка с общенародной житейской, разговорно-бытовой* речью, или, иначе говоря, *степень усвоения писательским языком как лексики, так и синтаксических конструкций так называемого «просторечия»*.

Слово «просторечие» мы берем в пушкинском, самом положительном и обширном смысле. Просторечие есть явление общенародное. И не следует, как часто это случается в литературных спорах, смешивать его с диалектизмами. Они — явление местное, порою окружное только. А о просторечии языковеды наши единодушно и исстари свидетельствуют, что «в нем сохранилось древнейших и *существенных* свойств русского языка больше, нежели в современной образованной речи» (Буслаев).

Для развития русского литературного (книжного) языка на всех его ступенях взаимодействие его

с просторечием, «сначала презренным», обогащение его из океанического «резерва» бытового народного языка и устной словесности было явлением главенствующим, определяющим и в высокой степени плодотворным. И что особенно следует запомнить: основоположник современного русского литературного языка считал таковое сближение признаком словесности *зрелой:* «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».

Тут кстати заметить, что чудесному пушкинскому термину «просторечие» придают, и совершенно неправильно, несколько принижающее порой значение.

В работах некоторых лексикографов помета «просторечие» стала произвольно и ненаучно служить для «ошельмования» многих и многих слов русского языка и его оборотов. Здесь проявляется подчас немало нездорового пуризма, который попросту смешон и заслуживает названия «чистоплюйства».

Лексикографический пуризм обедняет литературный язык. Например, уже упоминавшийся мною четырехтомный толковый словарь под видом «диалектизмов», «неологизмов», «вульгаризмов», «просторечия» и тому подобных выбросил из толкового словаря Даля свыше пятидесяти процентов слов!.. (Заимствуем подсчеты из «Учебника русского языка для педвузов». Учпедгиз, 1950, стр. 65, 67, 68.)

Согласимся на мгновение, что составители толкового словаря безошибочно распознали и определили все эти категории русских слов. Однако неужели в языке русском больше пятидесяти процентов диалектизмов, вульгаризмов и тому подобных слов? Известно, что «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный Владимиром Далем в итоге сорокасемилетнего титанического труда, содержал в себе свыше двухсот тысяч слов, да ученый редактор четвертого издания профессор Бодуэн де Кур-

тенэ прибавил еще двадцать тысяч слов. В словаре же, о котором мы говорим, оставлено только... восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят девять слов! Справедливость требует уточнения: особенности морфологии и синтаксиса Маяковского также были исключены из этого «толкового, литературного» словаря, за «неологизмы», которые, дескать, не утверждены еще в языке.

Полная путаница понятий! Живые люди вообще не разговаривают языком книги, тем более — языком стиха, будь он хоть Пушкина, хоть Маяковского. Но разве неупотребление в быту дает основание вычеркивать из русского языка слова и речения гениальных наших поэтов по той причине, что так, дескать, не разговаривают?!

Мы, писатели и поэты, и все вообще литераторы, конечно, не можем быть против литературных языковых норм. Но мы против «заниженных» норм, против произвола и вкусовщины «запретителей» и «нормировщиков».

Вполне закономерно, что языковая практика писателей, руководимых не только одним художественным чутьем, но и глубоким знанием еще не вокнижившегося народного языка, может опережать работу установщиков языковых литературных норм и вступать в противоречие с ними. Полезно вспомнить, что еще в XVIII веке, когда просторечными словами считались слова *вполне, дельно, жадный, удача, кружка, тын, рукавица* и т. д., уже была попытка создать нормативный словарь русского литературного языка. Представляю, какая «херасковщина» утвердилась бы в литературе! Уже Ломоносова, опираясь на эти литературные нормы XVIII века, поносили за то, что он якобы натащил в литературный язык «подлых» слов, что он засоряет-де чистоту общерусской речи своими «холмогорскими» словами и речениями; обвиняли его в «привычке худаго и простонародного языка».

«Сумароковщиной» и незнанием языка было продиктовано выступление одного из критиков и литературоведов, когда он возмущенно на страницах пе-

чати попрекал поэта Н. Тряпкина, будто бы тот выдумал слово «хлебозоры» да еще с нарушением каких-то якобы «законов» русского языка. На самом же деле «хлебозоры» вовсе не есть слово «новомышленное», а оно искони известно русскому крестьянству, включено в «Толковый словарь» Даля и означает те зарницы, сполохи, что озаряют хлеба в пору их цветения и налива. Всякий, в ком не очерствело чувство русского языка и поэзии, скажет, кроме того, что «хлебозоры» — слово чудесное. А вот поди ж ты!..

Конечно, совокупными усилиями можно выполоть и вытравить многое из народного языка, не дав ему вокнижиться, и мы постепенно привыкнем считать многое нелитературным.

Следует четко сказать, что Пушкин отнюдь не ставил знака равенства между языком письменности и разговорным: «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать языком разговорным — значит не знать языка...»

Воссоединение, обогащение письменного языка устными формами; вбирание всех мощностей, потенций языка народного, всего, что дееспособно, в язык литераторов — вот завет Пушкина, да и всех его продолжателей, вплоть до Горького и Маяковского!..

Так неужели же теперь, когда литература стала кровным делом многомиллионного «народа-языкотворца», когда его словотворящая сила успела за сорок лет, протекших со дня Великого Октября, обогатить язык огромным количеством новых слов, теперь, наконец, когда писатели — все сплошь из народа, — неужели же теперь не является смешным и вредным анахронизмом постоянное одергивание нас, писателей: «Этого слова не смей применять — оно худое и простонародное; и этого не смей — оно «новомышленное», «неологизм»!»

Вот несколько печальных примеров из такой кро-

хоборческой, мнимолитературной практики. От автора требуют сноски к слову «оладья».

— Зачем? — спросил автор.

— «Оладья» — провинциализм и притом устаревший!..

В другом случае вычеркнули слова «столешница» и «оконница» из тех же соображений. Третий объявил «неграмотностью» слово «одёжа». Но он был озадачен, когда ему привели из «Дуэли» Чехова: «Освободившись от *одёжи,* Надежда Федоровна почувствовала желание лететь».

Тут попутно скажем, что устное употребление слова «одёжа» в народе относится обычно к верхнему платью. И отчего бы не сохранить нам в литературном языке обе формы — и «одёжа», и «одежда», следуя такому же разграничению?

Вычеркиваются редакторами речения *«ан нет»; «аж»* (усилительная частица: «аж мороз по коже» и т. п.). Общée говоря, у нас в литературном языке подвергаются произвольному, и по существу невежественному, гонению многие наречия, многие частицы и так называемые «модальные слова». Эти последние означают отношение всего высказывания или предложения к реальности; они означают: вероятность, возможность, желаемость или нежелаемость, опасение и тому подобные отношения говорящего к предмету речи. Именно частицам, наречиям, «модальным словам», да еще особенностям русского глагола и обязан в первую очередь язык русского народа тем своеобразием, «обилием идиомов и русизмов», о которых говорил Белинский.

Позволю себе спросить: часто ли мы в современных романах, повестях, рассказах, в речи самого автора встретим такие «модальные слова», как, например: *де, дескать, мол, почитай, знать, авось, как водится, слышно, небось, видать, навряд, навряд ли, да, просто, что ли, прямо, вроде как, точно* (в смысле — будто) и т. д.? Классики наши не только не гнушались этими частицами, а, напротив, охотно к ним прибегали, в полном согласии с языком свое-

го народа. А оттого, что этот язык еще далеко не успел вокнижиться, он не казался им «презренным просторечием»!

Вот несколько примеров.

*«Небось,* у тебя... семейка немалая» (Герцен, Былое и думы); *«Знать,* у бойкого народа ты могла только родиться» (Гоголь); «...*авось-либо*, вся его вчерашняя тревога напрасна» (Лесков, Соборяне); «Это *просто* были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун» (Тургенев, Бежин луг); «Это случилось очень просто, *пожалуй,* несколько бесстыдно, что ли...» (Горький, Карамора); *«Чай,* заждался? *Небось*, бранил дядю за то, что не едет» (Тургенев, Дворянское гнездо); «Он три дня *точно* прятался и, видимо, избегал встречи» (Достоевский, Идиот); «А *только* воз и ныне там» (Крылов).

Не говоря уже о Крылове, который «весь на этом стоит», буквально неисчерпаемо количество всевозможных «модальных слов», частиц, наречий, идиоматических фразеологических предложений у Лескова и у Л. Н. Толстого (особенно в его произведениях последнего периода).

Коснемся русских наречий. «Но почему именно наречий?» — слышится уже мне недоуменный вопрос. А потому, что *наречие* есть особая часть речи: оно, как говорят лингвисты, просклонялось и сложилось с приставками задолго до нас; в наречии чрезвычайно сильно выражено именно то, что Белинский называл «народной физиономией языка». Это часть речи, которая уже не подлежит произволу ныне живущих.

Пройдемся бегло по царству русских наречий, и вы тотчас же увидите, сколь велики в них мыслеемкость, точность, вещественность и сколь незаменимы они.

*Без спросу*, *бок о бок, вблизи, близ, вброд, ввек, ввысь, вглубь, вдаль, вдвое, вдвойне, вдобавок, вдоволь, вдогонку, вдоль, вдребезги, взаймы, взаперти, взапуски, вконец, воочию, вплавь, вповалку, впопад, впопыхах, впору* (по мерке), *в пору* (вовремя),

*впрямь, вскачь, всухомятку, втайне, второпях, оземь, окрест, отроду, от силы, отчасти, осторонь* и т. д.

К этому следует добавить, что такие идиоматические речения, как «спустя рукава», «сломя голову», можно рассматривать тоже как наречия.

Обычно говорят, что наречий в языке русском насчитывается близко к двумстам. Я думаю, что это число можно по крайней мере утроить. Но в том-то и дело, что на многих из них лежит печать литературного отвержения, ибо от них веет просторечием, и наши аристархи еще до революции успели поставить на них клеймо: «Простореч.», то есть «не рекомендуется к литературному употреблению».

Знаменательно, что временнóе наречие «намедни», наречие *общерусское,* ввел в литературный язык еще Пушкин. При этом следует отметить, что просторечие «намедни» он применил не где-либо в сказке, а в «Евгении Онегине» (в «Путешествии Онегина»):

> Порой дождливою *намедни*
> Я, завернув на скотный двор...

Это ведь только кажется иному, что «намедни» с легкостью-де и полностью заменяется наречием «недавно». Да, действительно: «намедни» означает «незадолго», «недавно», но при условии считать не часами, а *днями.* И русский человек, не оторвавшийся от народа, понимает это, как понимал Пушкин. А вот когда в просторечии (также общерусском) произносится «даве», давеча, то здесь разумеют тоже «недавно», но этого же дня, то есть считая *на часы.* Такова различительная тонкость народного языка!

Здесь я особо прошу читателя вдуматься в нижеследующее. Трудами наших фольклористов, да и вообще людей, изучающих живой русский язык, все копятся и копятся бесценные сокровища самоцветов и перлов русской речи. Но так как пуристические окрики со стороны современных каченовских, отлучение просторечия от книги, от газеты, от радиовещания запугивают и прозаиков и поэтов, то сокровища народного просторечия лежат втуне, они пылятся и

тлеют в сундуках фольклористов: «Злой Кащей над златом чахнет!» Эти сокровища должны быть творчески претворены, переплавлены прозаиками и поэтами.

Поменьше надо стеснять писателя и поэта в выборе речевых изобразительных средств. Побольше доверия их знаниям, таланту, вкусу и разбору!

Многие из числа виднейших наших языковедов именно так и смотрят на это.

Буслаев писал: «Просторечие не только расширяет силу закона, стесняемую книжной речью, но иногда вернее и тверже держится первоначального закона, уже нарушенного в речи книжной».

Вещественность народного языка (так же, как мыслеемкость и точность его) исторически обусловлена тем, что он искони неразрывно связан с трудовой, производственной деятельностью человека и человечества.

Несколько слов и выражений, взятых из различных областей трудовой деятельности человека, напомнят нам о мыслеемкости, точности и вещественности народного языка.

Из области земледелия. *Целина, непашь, новь, целик,* иначе говоря, не рушенная плугом земля. *Соха* — здесь обозначено даже само возникновение этого первобытного орудия: первобытный пахарь воспользовался рассоховатым, рогастым суком, *рассохой. Сохатый*, то есть олень, от того же корня «сох». Плуг *зажирает*, то есть вязнет, слишком глубоко берет. *Челом* издревле называл земледелец то лучшее, веское зерно, которое при вейке на ветру ложится, тогда как *охвостье* или *охоботье* относит ветром. Отсюда становится понятной пословица: «Чело не боится ветру, а охвостье относит». *Ярь, озимь.* Яровые уже *уклочились,* то есть густо, хорошо стали *куститься.* Л. Н. Толстой применял в литературном языке и это выражение и многие другие земледельческие, крестьянские термины, не делая сносок и не опасаясь, что осудят: провинциализмы-де! Кстати уж

скажем о примененных здесь нами частицах «де» и «дескать», чудесно и экономно означающих, что речь косвенная, а не прямая: подобного рода частицы у нас прямо-таки изъяты из литературного языка. И утвердилась нерусская, а от переводной прозы идущая, манера передавать размышления героя прямой формой, иногда — на протяжении целых страниц.

*Вершить стог* — разве понадобится рассказывать, на какой стадии находится работа?.. *«Отбей косу!»* — скажет на покосе вручную один другому, и тот не схватится за брусок, ибо «отбить» не значит наточить, направить. *Отбить* — это холодной ковкой на бабке *оттянуть,* утончить лезвие.

Знающий язык своего народа писатель не спутает *пустошь* и *пустырь:* пустошь распахивают, а пустыри застраивают!

Дело вовсе не сводится к словарному составу. Нахвататься слов из словаря Даля, Бурнашова или Толя — нет, из этого ничего не выйдет: язык писателя от этого народным не станет. Когда Белинский, вслед за Пушкиным, говорил о русских идиомах, о народности языка, то разумел не только словарь, а и тончайшие особенности самого речевого строя. И словосоставление и даже синтаксис народной речи еще многому и многому научат писателя!

Еще до революции чистоплюйство аристархов привело, например, к тому, что литературный язык наш утратил такие речения, как *осенесь, лéтось,* означающие очень экономно, что речь идет не о какой-нибудь, а именно о только что минувшей осени или о лете. В сложении этих чудесных по своей точности и краткости временных наречий недаром участвует указательное местоимение *се* в форме *сь: лето-сь* означает *лета сего.*

Есть замечательная в русском языке приставка *су.* Она либо означает примесь, соединение с чем-либо, либо соответствует слову «недо»: суглинок, супески, супрядки (то есть совместное прядение в старину), сугорок (небольшая горка) и т. д. В животноводстве эта частица означает непразд-

ность, беременность; об овце народ исстари говорит: *суягна,* о свинье — *супороса,* о кошке, собаке, выдре, кунице — *сукотна.* Какая жалость, что эта приставка, столь свойственная народному языку и такая выразительная и экономная, совсем почти исчезла у нас из языка писателей!

Частицу эту литераторы наши перестали чувствовать. В большинстве утратили они искусство своего народа — тончайшим образом пользоваться предлогами в функции приставок; иногда предлоги — префиксы в народном языке не только сдваиваются, но и страиваются. А ведь все это придавало новые, тончайшие смысловые оттенки: *по-над головою, попридержать, попризадуматься, поразузнать* (дельце), *попризанять* (деньжонок), *поприударить* (за кем-либо) и т. д. Возьмем слитный предлог *па.* У него большая емкость смысловых оттенков. Писатели с хорошим русским языком и в наши дни широко применяют этот предлог, имеющий значение — *недо, под: последствие, унижение, низшую степень чего-либо.* «Не так беды, как пабедки губят!» — говорит пословица. Паводок — малое половодье. Падчерица, пасынок, пащенок и т. п.

Коснемся коренного, исконного терминологического словаря русских плотников-строителей. *Отбить черту* — сколь много слов понадобилось бы, чтобы выразить другими словами это действие: отбить черту — значит оттянуть за середину натянутую бечевку (нитку), натертую мелом или углем, и враз отпустить ее, как струну, — так, чтобы осталась черта на площадке...

*Заершить гвоздь* — означает покрыть гвоздь зарубками, насечками, которые будут накрепко удерживать его в стене, в бревне. На этом примере одновременно можно показать *потаённую* метафоричность народного языка: гвоздь своими зарубами уподобляется как бы ершу, когда его тянут против пера. Вот эти потаённые, извечные метафоры, вросшие в самую ткань языка, «тропы», которыми насыщен в особенности язык трудовых масс, — они-то и объясняют, как по-настоящему народный писатель

может сильно впечатлять языком, чуждым специальных метафорических прикрас. Писатель, припавший к неиссякаемому и прозрачному источнику народной речи, скорее кого-либо постигнет, что́ именно подразумевал Пушкин под «прелестью нагой простоты».

В языке народа выработалась за многие тысячи лет изумительная тонкость *различения, отграничения*. Примеров можно привести бесчисленное множество. Вот один — из языка крестьянства. У нас, в литературе художественной, о внезапной остановке впряженных лошадей говорится лишь так: «Лошади стали». А для крестьянина или ямщика это выражение еще ничего не говорит: оно слишком расплывчато, общо. Как, отчего стала лошадь? Может быть, она дернула сразу, но не взяла, тогда надо сказать: лошадь *осеклась*. А бывает и так, что кони дернули недружно и затоптались на месте, — тогда лучше будет сказать: кони *замялись*. Если же лошадь остановилась оттого, что тесный хомут душит ее, тогда следует сказать: лошадь *затянулась*. Но если лошадь остановилась от жары или от быстрого и долгого бега, то здесь нужно сказать: лошадь *задохлась*. Выражение же «лошадь стала» останется лишь для таких случаев, когда лошадь вовсе выбилась из сил, когда ее надо выпрягать и кормить.

Не только в быту земледельца, но и в быту людей любой трудовой деятельности обиходный словарь явит нам такие же тончайшие степени смыслового разграничения.

Словарь русских садоводов, рыболовов, охотников, ткачей, слесарей, шахтеров, горняков, словарь русской женщины, созданный ею в домоводстве и в семейных делах, — словом, язык трудовых масс своей мыслеемкостью, точностью и вещественностью восхищал всех мастеров русской прозы.

Из числа современных прозаиков мне в первую очередь вспоминаются здесь имена Бажова, Всеволода Иванова, Пришвина, Шолохова, Леонова и Шергина — этого северного Бажова.

...Н а р о д о т б и р а е т! Общеизвестно, что трудно соперничать с мыслеемкостью народных пословиц.

Даль записал этих пословиц и поговорок свыше тридцати тысяч. Конечно, их было куда больше. Но через века народ пронес лишь элиту, отбор. В пословице словам тесно, а мысли просторно. Позволим себе горсточку примеров: «Были были — и бояра волком выли!» (Вероятно, от Разина и Пугачева.) Вот о ханже и святоше: «Господи прости, да в чужую клеть пусти!» О дармоедах: «Ем, а дела не вем!» О лжепатриотах, а может быть, о купечестве: «И с бородой и с усами, да не Сусанин!» О хамстве: «Телом будь хоть в борова, лишь бы не того норова». Вот несколько «вольная»: «На работе ли, на ложе, а все лучше помоложе». О хапугах: «Жадна душа — без дна ушат». О земледельческом труде: «Пахать да боронить — денечка не обронить». И совсем недавние: «Колхознику в весну не до сну». «Сам-то сиз, да под ним-то «ЗИС».

Сами ученые-лингвисты и литературоведы иногда высказывали мечту о еще большем вокнижении не только словаря, но даже и синтаксиса просторечия. Так, Сахаров высказал однажды, что ученый-грамматист будущего окажет услугу русскому народу и его писателям, если напишет книгу о синтаксисе просторечия. И вот почти через сто лет появилась-таки подобная книга: «Очерки по синтаксису русских народных говоров. Строение предложения». Автор ее — советский грамматист А. Б. Шапиро. Книга издана Институтом языкознания Академии наук СССР и, очевидно, преследует чисто ученые цели, а между тем она может служить пособием для каждого русского прозаика. Только написана книга «жестковато», канцелярским языком. Ее необходимо, на наш взгляд, переработать: во-первых, изложить проще а во-вторых, связать синтаксис просторечия с художественным претворением его в произведениях классиков.

Пуристы, сделавшие своей специальностью «охрану» литературного языка от просторечия, не любят вспоминать многочисленные выступления Горького с призывами к писателям изучать просторечие, учиться русскому языку у трудовых масс, у народа,

на образцах живой речи. Зато с каким постоянством сторонники «расслабленного язычишки» привлекают против просторечия то высказывание Горького, где он осуждает — и совершенно справедливо! — злоупотребление диалектизмами вроде *пыжжай* или *подъелдыкивать*. Но просторечие в пушкинском понимании, которого мы и придерживаемся, конечно, не имеет ничего общего с этим злоупотреблением какофоническими диалектизмами.

А что касается взглядов Горького на просторечие в его истинном смысле, то здесь взгляды Алексея Максимовича и его советы писателям столь резко выражены, что никакое лжетолкование тут невозможно: «Писатель, не обладающий знаниями фольклора, — плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен».

И еще:

«Я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать сказки русские, былины, сборники песен, библию, классиков... Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне, в псалтыре, в песне песней Соломона... Вникайте в творчество народное, это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создает образ двумя, тремя словами».

Само собой разумеется, что и в художественной прозе и в стихах советских писателей есть уже немало образцов плодотворного вокнижения русского просторечия, включая и синтаксис его. Предмет этот достоин особого обзора-исследования. В пределах же сжатой статьи я приведу лишь два-три примера.

По-народному богат язык автора «Малахитовой шкатулки» уменьшительными, уничижительными и ласкательными суффиксами: «несмышленыш», «слепыш», «кубастенький», «из балагашка», «человечишко», «здоровьишко», «старичонко», «глазыньки», «высоконькая». Возникает невольное, и лишь на первый

взгляд странное, сближение — Бажов и Маяковский: и у того и у другого необычайное богатство и смелость словообразования с помощью суффиксов. Эта суффиксация — одна из примет истинно народной речи: «горенка-безуголенка», «баиньки», «тошнехонько» и т. п.

Та же, что и у Маяковского (из одного источника!), многовидность глагольных форм у Бажова. Обычно достигается эта многовидность тончайшим применением приставок с соответствующими суффиксами зачинательности или повторности действия. Нередко применяет Бажов приставки, означающие: «недо», «не совсем», «чуть-чуть», а также приставки, которыми живой народный язык искони выражает малую степень чего-либо или сочетание, соединение, встречу. Примером можно привести такие формы у Бажова, как: «*за*покачивался», то есть *начал* покачиваться; «*при*сугорбился», «*су*горбый», «*за*подумывала», «*при*позднились», «*при*станывает», «*су*порствовать» (то есть говорить-перечить). Подобных слов у писателя множество.

Какой русский человек не поймет, что «сугорбый» — это не совсем «горбатый», а «пригорбоватый»! И чего ради лишаться литературному нашему языку всех этих оттенков?

Само собой разумеется, что у Бажова мы очень часто встречаем живое, народное окончание родительного падежа имен существительных мужского рода, то есть «у» вместо книжного «а»: «выше человеческого рост*у*», «богатырского оклик*у*» и т. д.

Я не ставлю перед собой задачу даже и беглого обзора просторечных словаря, морфологии и синтаксиса в произведениях советских поэтов. Конечно, на первом месте здесь стоит Маяковский. Сразу вспоминается Исаковский, Твардовский, Смеляков, Недогонов, Прокофьев. Лексика, морфология и синтаксис этих поэтов дают много образцов вокнижения народной речи.

О языке произведений Пришвина пришлось бы в основном повторить сказанное о языке Бажова: он в глубокой степени народен. Язык Пришвина кон-

структивно сложнее, «грамматичнее». А все ж и в нем мы находим обилие конструкций, наиболее свойственных народному просторечию. Среди них немалое место занимает народный стилистический прием так называемого «опущения» — когда опускаются легко подразумеваемые члены предложения. Например: «*Да, так бывает*: *вот бы только*, *вот-вот*, — *а* и *нет ничего*!» В этой пришвинской фразе — сгусток народной фразеологии, вся энергия просторечного синтаксиса! И это не в сказке, не в стилизации под просторечие, а из «Корня жизни» — поэмы.

Соединенные союзами и бессоюзные предложения строятся у Пришвина сплошь и рядом та́к, как строятся они в просторечии.

Приведем несколько примеров. «И разошлись и полетели каждая сама по себе». «На рассвете дня и на рассвете года все равно: опушка леса является убежищем жизни». «Тут искать нечего: твой гриб всегда на тебя смотрит». «Гриб лезет и лезет». «Ехал сюда — рожь начинала желтеть». «Там — гриб сам, здесь — мы сами». «Листик, самый маленький, на паутине спустился к реке и вот крутится, вот крутится!» «Если я занимаюсь дома в часы отдыха каким-нибудь любительством: собака там есть у меня любимая, или птица, или там что-нибудь есть...» «Так выходит в лесу ежик, перебирает листву: он все знает. И так я за своим столом». «Не под землей они (богатства) где-нибудь, а тут вот прямо перед тобой лежат: поди и возьми!» «Слышу — треплется звук, а спроси — и не скажу». «Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями — и прилетел». «Я кричу на Кадошку; он не слушает — гонит и гонит». «Мы все-таки вышли промяться». «Думал, — шутит, и вдруг — бац!» «Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза!» «Вот он и погнал, нажимает, все ближе, ближе».

Так называемые *присоединительные связи*, свойственные главным образом народной устной речи, все более и более занимают умы советских лингвистов. Много работал над этим вопросом академик Л. В. Щерба; огромное внимание уделяют им акаде-

мик В. В. Виноградов, академик И. И. Мещанинов, С. Е. Крючков, А. М. Земский, М. В. Светлаев, Н. С. Поспелов и другие.

Присоединительные связи осуществляются через присоединительные союзы, частицы, наречия и так называемые «модальные слова»: *а, а то, и потому, и, и вот, или, да и, и то, да, ведь* и т. д. К примеру: «Ее губы улыбались редко — *и то* слегка» (Тургенев).

Зачастую в предложениях устной речи присоединительные связи, например союз *и*, повторяются. Не является редкостью повторение этих присоединительных союзов и частиц и в классической прозе, не говоря уже о сказках и сказах.

Однако, по свидетельству одного из видных лингвистов наших дней, С. Е. Крючкова, «Незнакомство с вопросом о присоединительных связях заставляет неправильно оценивать их, вплоть до признания их синтаксическими ошибками».

Профессор С. Е. Крючков приводит следующие примеры такого неверного определения присоединительного *и* как синтаксической ошибки. Д. Н. Богоявленский объявляет ошибками следующие предложения, написанные школьниками третьего класса в сочинении: «Они увидели дорожку. *И* побежали по той дорожке». «Они увидели молнию. *И* побежали домой». «Капа нарвала цветов. *И* сделала венок».

«Но, — справедливо возражает С. Е. Крючков, — приведенные из детских работ примеры *вовсе не являются ошибочными.* Эти своеобразные связи *естественны* для *устной, непринужденной речи вообще* и особенно для речи ребенка, еще не привыкшего пользоваться *синтаксическими моделями письменного литературного языка».*

Только и всего: не привыкли пользоваться моделями письменного языка!

Из стихов Твардовского можно черпать сотнями, если не тысячами, образчики и просторечного словаря, и морфологии, и синтаксиса: «А видать, тебя до ручки раскулачили, отец?»; «И дышит, как дежа!»;

«На тыщи верст»; «По праву руку»; «Далеко-далеко...»; «Баял» (говорил); «Ихний батька»; «— А у не людей»; «Оберуч» (наречие, означающее: обеими руками); «Как навернет рогатками!»; «И свято линию берег, что Ленин указал!»; «Точка, брат!»; «И жизни даст!»; «А нужна, больна мне Родина, родная сторона!»; «Над тобой, над речкой» (народнопесенный повтор предлога); «Голосует: — Подвези!»; «Чтоб в котле стоял черпак!» (то есть до того густо сварено); «По которой речке плыть, — той и славушку творить...»

Не случайно, а закономерно — и «Страна Муравия» и «Василий Теркин», почерпнутые из океана народной жизни, народные и по языку, признаны народом.

Овладение всей многообразностью, всеми силами и оттенками русского глагола, бесспорно, придает языку писателя черты народности.

Глагол — самая огнепышущая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь и назначение глагола — выражать само действие! Русскому глаголу, особенно в народной устной словесности, свойственна иногда некая как бы «надвременность». Так, в былинном языке для обозначения одного и того же настоящего времени применяется и будущее, и прошедшее, и настоящее: *«А и будет* Илья посреди двора, он *вяжет* коня да к золоту кольцу: *проходил* он во столовую во горенку». Или: *«Пнёт* ногой во двери железные — *изломал* все пробои железные». Этот оборот гораздо живее, ярче, чем «пнул — изломал».

Или же так называемые «междометные» формы глагола: «хвать», «цап-царап», «стук» («стук его по голове!»), «звяк» («звяк в окно!»). Эти формы прекрасно служат для обозначения мгновенности действия. Сравни у Пушкина: «Он холку хвать и в стремя ногу» («Граф Нулин»). Или: «И вдруг бедняжку цап-царап!» (там же).

В высшей степени также благодатна для писателя (живит повествование) та форма глагола, кото-

рая внешне похожа на повелительное наклонение, а на самом деле вовсе им не является: «А он возьми и умри у меня под хлороформом!» (Чехов, Дядя Ваня). «Случись тут мухе быть». (Крылов, Муха и дорожные).

Молодому писателю необходимо овладеть всеми видами и залогами, наклонениями и временами русского глагола. Лучшие учителя здесь—устное народное творчество и Маяковский. Глагол наш, если научиться управлять им с помощью префиксов (приставок) и суффиксов, откроет неисчерпаемые россыпи: глядел, глянул, поглядывал, заглядывал, приглядывал, оглядывал, проглядел и т. д.

Наш язык позволяет сказать и «увяз» и «увязнул», «повис» и «повиснул», «увял» и «увянул» — выбирай, что тебе нужнее!..

И необходимо решительно пресекать попытки «запретителей» изъять одну из таких равноправных форм. Все это не что иное, как проявление *вкусовщины.* Иному вдруг покажется почему-то, что «повиснул», «увязнул» — архаизмы, подлежащие изгнанию, и он требует их замены формами «повис», «увяз». И нет ему никакого дела до «поступи» прозаика или поэта, нет дела до благозвучия и прочих задач художника слова!

Слабое знание *синонимов* русского языка есть также одна из причин «скудословия», блеклости, невыразительности.

Синонимы, *подобозначные* слова! Есть ли что-нибудь более необходимое и прозаику и поэту, чем обстоятельный, толковый и полный синонимический словарь! И вот лишь недавно появился, наконец, «Краткий словарь синонимов русского языка» В. Н. Клюевой. Это первая у нас добротная попытка создания такого словаря, написанного с глубоким знанием предмета. Книга, мне кажется, прошла незамеченной. А между тем писательская общественность должна была бы горячо отозваться на этот насущный труд, и тогда, быть может, мы имели бы не краткий, а большой словарь синонимов русского языка.

Надо сказать прямо, начистоту, что *усыхание*, обесцвечивание русского языка в художественной прозе беспокоит многих, и не зря.

*Глубинным* языком русским, народным в том смысле, как говорил Белинский, писать очень трудно и накладисто! Куда легче, ухватив «проблему», скажем — любви, брака, семьи, сочинить роман об этом листов этак на пятьдесят, следуя при этом ходовому рецепту: «Пишите доходчивым, понятным языком». Как будто в этом все! А не лучше ли писать языком точным, мыслеемким, вещественным? Ведь это и есть непременные, неотъемлемые, «атрибутные» признаки художественного языка!

Но тогда прощай трилогии, квадрологии и квинтологии! А что ж за беда? Вся проза Гоголя и Лермонтова вмещается в одном томе!

Тут да не подвергнусь я лжетолкованию! Все мы знаем образцы трилогий, вошедших в сокровищницу русской художественной литературы, и не тяготимся их объемом: например, «Сестры», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро».

Но, к сожалению, такого рода образцы — редкость. А между тем наклонность к трилогиям становится поистине болезнью, бедствием. Создание многотомных, пухлых романов облегчается невзыскательностью к языку. Понятие «художественность» подменяется понятием «грамотность».

Бесцветный, лишенный признаков народности язык в первую очередь помогает быстро и пухло писать романы приключенческие и научно-фантастические. В большинстве из них — язык плохо переведенной иностранной прозы, языковая «калька». Сохраняется смысловое, событийное, но исчезают, испаряются цвета, краски, зримость художественного описания, его скупость.

Для этого жанра языковые требования почему-то недопустимо снижены.

Романы Н. Шпанова, которые иной раз разбухали в трилогии, дают понятие о таком языке.

Вот примеры языка стертой переводной прозы, которыми написаны все книги этого плодовитого автора. Оговорюсь, что некоторые слова в выдержках выделены мною.

«Инга съела суп из бобов и долго обсасывала крохотную косточку, *долженствующую* изображать мясо в супе» («Ученик чародея», 1956, стр. 319).

«Но пусть-ка эти критики-реалисты сами попробуют установить связь в условиях, в каких находились Эрна Клинт и Кручинин, да так, чтобы сообщение не было обнаружено, а уж ежели оно и попадет в руки врагов, то чтобы никто не смог понять его содержания, определить адресата и отправителя» (стр. 267).

*«Не составило труда установить*, что Лайма Зведрис остановилась в гостинице» (стр. 217). По-русски было бы проще: «Не трудно было установить...»

*«Казалось, что осуществление идеи, принадлежащей ему, как внезапное и блестящее решение вопроса о принадлежности отцу Шуману рубашек, не терпит отлагательства»* (стр. 143).

Конечно, это же самое можно было сказать куда короче и лучше, попросту, по-русски: «Надо было немедленно выяснить: отца Шумана это рубашки или нет?»

Но писать кратко, выразительно и вразумительно можно лишь тогда, когда ты хорошо знаешь родной язык. У автора же очень неверное понимание русских слов. Например: «А ведь это *враги расточительствовали* в стремлении ослабить нас, хотели взять нас голыми руками — обнищавших духовно и телесно» (стр. 78). *Расточить* можно только *свое*. Расточить — означает нерасчетливо истратить свое добро. Только если я сам (а не враг!) делаю это, тогда по-русски можно сказать, что я расточительствую.

Роковым образом «колодка» переводной прозы служит для построения предложений многим другим «приключенческим» авторам. Вот примеры из «Острова разочарований» А. Лагина:

«Сердито насупившись, *отчего его и без того* моложавое лицо стало совсем мальчишеским, и пробормотав себе под нос несколько русских фраз, *которые, будь они поняты* мистером Фламмери и его верным Мообсом, *вряд ли содействовали бы улучшению обстановки,* Егорычев продолжал осторожно поворачивать вариометр» (стр. 587).

Вот еще: «Но когда его, уже связанного, взвалили к себе на спины двое дюжих негров, он снова стал кричать и извиваться и укусил одного из них в шею с такой силой, что негр застонал от боли, а челюсти ефрейтора Сморке, *о которых мы уже имели случай сказать, что они были искусственного происхождения,* треснули и переломились пополам, *как бы подчеркивая этим обстоятельством,* что больше ими их обладателю пользоваться уже не придется» (стр. 547).

И так вот на протяжении многих печатных листов! Пойди отличи «прозу Шпанова» от «прозы Лагина»!

Крайняя облегченность языка от всего, что Белинский именовал «народной физиономией языка», отличает целый ряд прозаических произведений не только приключенческого жанра. Романы «любовно-семейного» жанра тоже сильно грешат этим. В чем причина такого сходства? Мне кажется, в том, что, надеясь на приманку самой темы, которая, дескать, и сама по себе возьмет за душу каждого читателя, авторы считают, что «и так сойдет». Зачем, мол, я стану еще предаваться каким-то «мукам слова» да «трудить темя»!..

Роман печатается. Его читают. Критика наша отвыкла «вменять» языковые изъяны. «Литературная газета» откроет прения, сделает подборку читательских писем. Все придут примерно к такому выводу: «Любовная линия неизмеримо разрослась и глушит все остальное... Местами роман пошловат. Встречаются языковые погрешности. Не все одинаково удалось автору. Но, несмотря на все недостатки, книга написана с большим творческим волнением, читается легко».

И «взыскательный художник» рад и спокоен. А тем временем уже готов и второй роман трилогии! И, делясь творческими замыслами с читателями «Литературной газеты», автор сообщает гордо, что новый роман «будет *публиковаться*» в журнале таком-то.

«Языковые погрешности» — легко сказать! Да что, писатель школьник, что ли? Писатель и народное употребление, по мнению академика Шахматова и других виднейших лингвистов, определяют должное и недолжное в литературном языке, а тут нате вам!

Нет, поэтов мы судим куда строже! И надо прямо сказать, поэты наши год от году показывают в своих стихах все более глубинное овладение народным словом, всеми его мощностями и оттенками. В стихах и поэмах все заметнее слияние книжного языка с живым народным. Это радостно!

Давно пора столь же строго судить и прозаические произведения, а не отделываться замечаниями об «искреннем волнении» и о «языковых погрешностях».

Беру для примера новый роман Г. Николаевой «Битва в пути». Язык романа чужд «народной физиономии языка»; переводная калька речевого строя, вялость, блеклость авторской речи, неточность в применении слов делают этот роман образчиком дурной прозы.

Писательница хочет сказать, что мальчик был взволнован, возбужден. Но для этого душевного состояния ребенка не находит она иного слова в родном языке, как только слово «ажиотаж», взятое из словаря биржи и прямо означающее усиленную спекуляцию бумагами или товарами: «Папа! — *в ажиотаже* закричал Рыжик» («Октябрь» № 5, 1957, стр. 25).

Вязкость и неряшливость предложения видны из следующих хотя бы примеров:

«Здесь выручали железнодорожников — делали для железнодорожных мастерских станки, *с тем,*

*чтобы те, в свою очередь*, выручили внеочередными перевозками...» (стр. 26). Кто «те»: станки, мастерские или железнодорожники?

Весь роман, если исключить «красивости» любовных сцен, за которые ласково журят автора и читатели и «Литературная газета», написан такого рода вялыми, канцелярско-статейного сложения фразами:

«Даша никак не могла дотянуть *недостающие до нормы* десять стержней, но *на общей выработке* отделения *это не сказывалось, так как* многие опытные стержневщицы перевыполняли нормы» (стр. 17).

«За одно это подчеркивание, за внимание, с которым Дронов прочел тетрадь, Бахирев уже *испытывал* к нему *симпатию»* (стр. 89). Так и написано — «симпатию».

Мысли, терзающие главного героя Бахирева, предстают перед нами в таком словесном выражении:

«Все здесь, как во времена НАТИКа, — думал он. —Вот оно, единство противоположностей! Поточно-массовое производство — самое консервативное, но оно и самое прогрессивное в условиях недостаточной массовости... В условиях максимальной массовости ничто не будет тормозить, но все будет подгонять, и только в этих условиях поточно-массовое производство раскроет свою производственную силу. Поток требует максимальной массовости. *Каждая крыса тащит свой хвост. У поточного производства есть свой хвост* — максимальная массовость» и т. д. (стр. 52).

Правда, не вдруг-то отыщешь среди русских пословиц равную по образности той, что приведена насчет крысы и обязательного для нее хвоста: каким ведь, подумаешь, светом озарилась вдруг вся многосложная промышленно-экономическая область!..

Можно ли таким языком и складом изображать душевные муки, любовь и борение в сердце человеческом? Конечно, нет! Вот почему и возникают затертости, штампы, какие-то перепевы давно уже кем-

то сказанного, едва писательница принимается за изображение этого мира.

Мужчина, отец семейства, полюбил девушку-художницу. Она пишет в «фонарике» Дворца культуры портрет его сынишки. Папе самому хочется поцеловать девушку. Но он поручает это малютке — символ!

« — Пойди... поцелуй тетю Тину... — тихо сказал Бахирев.

В странном волнении смотрел он, как прилежно потопал бутуз короткими ножками, как потянулся к Тине и, когда она наклонилась, обнял за шею и поцеловал в щеку.

Его ребенок, его посланец, его запретная нежность. Сердце ударило гулко» (стр. 31).

Ох уж эти обязательные в старинных романах малютки-посредники!..

Или чего стоит этот разговор Бахирева с Тиной, какой «глубокий» подтекст:

« — Вы знаете, — продолжала Тина, — мне кажется, что в детстве вы тоже были рыжим.

Тина взглянула на него внимательно:

— А по-моему, где-то внутри вы и сейчас рыжий!» (стр. 29).

Хотя и попрекают автора читатели, что «любовная линия неизмеримо разрослась и заглушила все остальное», но как раз ведь это обстоятельство и обеспечивает «читабельность» романа. А поисками какого-то особого языка пусть, мол, себе занимаются кафедры русского языка!

Все еще не выполненным остается и нами, писателями, и учеными завет великого Ленина об очистке русского литературного языка от ненужной иностранщины. Это вопрос большой и не только чисто литературный или научный, а общенародной важности политический вопрос.

Ленин прямо указывал, что в бессмысленном засорении русского языка ненужной иностранщиной виноваты в первую очередь помещики: «Перенимать

французско-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык».

Образчиком вредного чужесловия Ленин избрал слово «будировать»: «Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться», — разъяснял Ленин. Его «озлобляет, — он так прямо и говорит, — употребление иностранных слов без надобности». «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?»

Особенно досталось в его заметках о языке тем из писателей, которые способствуют засорению русского языка иностранщиной:

«Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?» — писал Ленин.

В этом призыве Ленина произвести «очистку русского языка» от излишних, примененных без надобности иностранных слов заключена глубочайшая мысль, над которой следует поразмыслить именно писателю-художнику, а шире говоря, и всякому пишущему литератору: почему это новичку в грамоте, «недавно научившемуся читать», Ленин прощает злоупотребление иностранными словами, а работнику пера, литератору, то есть человеку, надо полагать, большого образования, «простить этого нельзя»? Ответ на этот вопрос может быть один: чем образованнее человек, тем глубже он обязан знать язык своего народа. А следовательно, и надобность хвататься за иностранное словечко у того, кто дерзает писать статьи или книги, должна встретиться гораздо реже, чем у человека с недостаточным образованием.

Горький тоже не делал писателю никаких скидок.

Все слова родного языка должен знать русский писатель: «Для писателя, «художника» необходимо широкое знакомство со всем запасом слов богатейшего нашего словаря и необходимо умение выбирать из него наиболее точные, ясные, сильные слова».

Но и к языку науки ее творцы предъявляли такие же требования в смысле языка. «Наука должна сойти со своего пьедестала и заговорить языком народа», — писал Тимирязев.

Здесь нет надобности рассматривать самый процесс засорения русского языка всякой иностранщиной. Скажем только, что если со Смутного времени начинается первый наплыв чужеземных слов (латинизмы, полонизмы), то XVIII век — это уже настоящая «языковая интервенция» со стороны немцев и французов (германизмы и галлицизмы). У нас всю вину за вторжение множества «варваризмов» в наш язык любят сваливать на петровские преобразования и на самого Петра. Здесь лишь частица правды. Борясь с косностью боярско-поповской, Петр, вынужденный с бешеной быстротой наверстывать упущенное, иной раз вместе с какой-нибудь производственной новинкой или заморской обиходностью, в «жару ратного спеха» втаскивал и чужеземные наименования («фортеция», «кавалер», «ассамблея», «мортира», «бриг», «мичман» и другие). Однако следует со всей решительностью сказать, что, во-первых, Петр тяготился этой нуждой и приказывал отыскивать в языке русском достойные переводы иностранному слову, создавать словари русские, а во-вторых, тех, кто чрезмерно усердствовал в засорении русского языка чужесловием, он одергивал и вразумлял.

«Так писать, как внятнее», — приказывал Петр. В одном из повелений своих посланнику за рубежом Петр пишет:

«В реляциях своих употребляешь ты зело много польских и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои *писать все россий-*

*ским языком, не употребляя иностранных слов и терминов».*

Известно, что Ломоносов, избегая *излишних* заимствований в иностранных языках, ввел в науку слова и речения: *воздушный насос, законы движения, зажигательное стекло, земная ось, огнедышащие горы, преломление лучей, равновесие тел, удельный вес, кислота, квасцы, щелочь, основание, крепкая водка, негашеная известь, наблюдение, движение, явление, частица...*

Однако он же счел нужным оставить: *диаметр, квадрат, пропорция, минус, горизонтальный, формула, сферический, атмосфера, барометр, микроскоп, оптика, сулема, селитра, поташ* и т. д.

Это были слова и речения международного, интернационального порядка, идущие почти сплошь от греческих и латинских слов.

Русская сатирическая литература прошлого века дала нам смешной и отвратительный образ помещицы-космополитки, которая раболепствует перед всем французским и калечит русский язык, — это образ госпожи Курдюковой, созданный поэтом Мятлевым в его стихотворной сатире «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей дан л'Этранже» (то есть опять же «за границей», но только по-французски). Образчики ее языковой мешанины таковы:

Вот в дорогу я пустилась,
В город Питер дотащилась
И промыслила билет
Для меня *э пур Анет,*
И *пур* Харитон *ле* медник
*Сюр ле пираскаф* Наследник (то есть на пароходе «Наследник»).

Госпожа Курдюкова считала обязательным к русским существительным присоединять артикль, частицу, означающую род — мужской или женский: «ле дом», «ля западня». Русские у нее «ле Рюс»:

Здесь *ле Рюс* переходили
Рейн в тринадцатом году.

Растление русского языка офранцуженным помещичьим сословием вызывало издевки Сумарокова еще за сто лет до Мятлева. Так что ко второй половине XIX века космополитка госпожа Курдюкова — это был уже отстоявшийся, обобщенный образ. И, скажем попутно, госпожа Курдюкова — это родная сестра госпожи Простаковой, которая умилялась тем, что учителем для своего Митрофанушки она держит немца Вральмана.

Сумароков понимал, что «восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка... Язык наш толико сею заражен язвою, что и теперь уже вычищать его трудно...»

Это были времена, когда космополит-помещик говорил примерно так: «Моя *аманта* сделала мне *индифилитэ»*, что в буквальном переводе означало: «Моя возлюбленная сделала мне неверность», проще сказать — изменила. Вместо «соперник» предпочитали говорить «риваль» и т. д.

Таким «русским» языком говорили курдюковы. Но язык госпожи Курдюковой вторгся и в нашу советскую науку: «лейнер» вместо «втулка»; «фляштауэр» вместо «испаритель»; «абдикация» вместо «отречение»; «аберрация зрения» вместо «погрешность зрения»; «апатия» вместо «вялость, расслабление, расслабленность, бесчувствие, равнодушие, безучастие», — выбирайте любое, что более подходит к данному случаю.

Речь идет не о каком-то безоглядном гонении на все иностранные слова, а о выполнении ленинского завета о борьбе с засорением нашего языка ненужными иностранными словами, когда легко можно обойтись без них.

Вслушайтесь, как вещественно и просто звучат слова или выражения: *свита горных пород*, *кряж*, *постель россыпи*, *ребровик; осреднение, щелочь, кислота, череп, позвонок, ключица, лопатка*, *голень, мышца*, *связка...* А слово «спутник»!

В свое время «Литературная газета» начала было отличное патриотическое дело, выступив со статьей

А. Добрянского «Сорняки низкопоклонства», в которой приводились вопиющие примеры засорения терминологии нефтяного дела (дробной перегонки нефти) английскими словами.

Какой поток писем-откликов хлынул в редакцию! Здесь представлены были люди разных профессий и разного образования. У всех наболело! Жаловались инженеры, жаловались кондитеры. В ненапечатанном письме инженера-нефтяника В. Пархоменко сообщалось, между прочим, что книга «Стахановцы бакинских полей» («Азнефть», 1948), предназначенная для рабочих, настолько была засорена английскими терминами, что трудно было понять советскому рабочему даже сущность «крекинга». Еще бы! Без всякой нужды мы втащили в дробную перегонку нефти, где неоспоримо русское первенство, сотни таких слов, как *лубрикетинг*, *микстер*, *стреппинг*, *чиллер*, *ресивер*, *рисайкл*, *квенчинг*, *кулинг*, *салютайзер*, *инхибитор*, *тритинг* и т. д. Где ж тут вещественность, зримость для русского нефтяника?! Какая чудовищная расточительность умственных сил и времени! Это сплошь чужесловный словарь! И какой тормоз здесь росту русских рабочих кадров!..

А между тем, по сообщению того же самого инженера, диссертация одного молодого нефтяника, целиком посвященная русской терминологии крекинга, была признана делом излишним!..

Ленин прямо говорил, что употребление без надобности слов иностранных «затрудняет наше влияние на массу».

Оно и теперь так. Неисчислимы вредные последствия такого засорения. Достаточно сказать, что этим внедряется в сознание миллионов советских людей ложная мысль о какой-то будто бы неполноценности русского языка сравнительно с западными, а тем самым поддерживается вредная идейка о нашей отсталости. Не следует забывать о неразрывном единстве мысли и языка! Языковое и идеологическое — неразрывны. Это подчеркивал Горький: «Повторяю еще раз: идеологически и художественно точное изображение нашей действительности в лите-

ратуре повелительно требует богатства, простоты, ясности и твердости языка».

И, обращаясь к писателям, он с тревогой предостерегал:

«Язык отстает от того размаха творчества, которым живет страна».

Великое дело требует великого слова. И кто же даст советским писателям это слово, равновеликое подвигам народа, как не сам народ-речетворец!

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СИЛА РУССКОГО СЛОВА

Язык. Слово человеческое!.. Какая другая сила в мире может сравниться с его безмерною силою? Всегда неразрывно-единое с мыслью, рожденное в общественном труде человека, извечно с этим трудом взаимодействующее, слово является творцом всей мировой культуры, собирателем и управителем всей деятельности и отдельного человека, и народа, и всего человечества.

Недаром высшим интегратором, то есть *объединителем,* называл слово великий русский ученый Павлов. Каждый из нас знает, что слово, речь — устная или письменная — это необходимое средство *общения* между людьми, средство взаимопонимания, связи. Из бесконечного мира отдельных явлений и предметов ум человеческий через слово выделяет понятия *обобщенные,* однородные, охватывающие сразу целый ряд, целую область предметов, сходных меж собою общими признаками. И обобщения эти — самых различных степеней: от низших до высочайших. Например, слово *дерево* есть уже обобщение довольно высокой степени: оно включает в себя не одно какое-нибудь дерево, а все деревья: и сосну, и березу, и дуб — короче говоря, все, что обладает явными для всех признаками: корни, ствол, ветви, листва (или хвоя), способность питаться соками, способность расти и размножаться и т. д. И, однако, слово «растительность» будет интегратором, обобщителем еще более высокой степени, ибо в это понятие и любая трава войдет и даже мхи. Слово *люди* объемлет собою любого человека, всех и каждого. Способность слова человеческого к обобщению или отвлечению (что то же) поистине без-

гранична. Мы знаем понятия охвата, емкости беспредельной: *человечество, вселенная, космос, бесконечность, вечность.*

Процесс отвлечения и обобщения понятий лежит в основе мыслительной работы человека.

Но в то же время кто из нас не слыхал, что есть еще и какое-то особое слово — слово *художественное.* Об этом, конечно, знает каждый, если даже он сам прямого отношения к этому художественному слову и не имел. Нередко приходится слышать: «Ну, я не художник слова. Художественное слово — это не моя область: это дело писателей, поэтов!» Здесь не все верно. Дело в том, что так называемая *художественность* присуща *самому языку народа.* А ведь каждый из нас, человек любого призвания, любого трудового пути, является прирожденным, если можно так выразиться, «пайщиком» этой неисчерпаемой сокровищницы народной речи. Писатель, поэт — они, в силу особой одаренности, которую совершенствуют далее неустанным трудом в слове, обладают тончайшей чуткостью к этому народному слову, умением отбора и целенаправленных сочетаний. Но, повторяю, *художественностью* преисполнен самый язык многомиллионных трудовых масс. *Язык* создан народом. Писатель же почерпает свое слово из этого вечного источника. Но и обогащает его.

Художественностью насыщен не только язык так называемой устной словесности, то есть сказаний и сказок, песен и пословиц. Это известно каждому! Но далеко не привычна та бесспорная истина, что этой художественностью обладает и производственный язык миллионов людей решительно всех призваний, любой области производственного, *вещественно-материального* труда. Богата художественностью, изобразительностью речь землепашца, садовода, охотника, зверолова, рыбака, речь горняка, строителя, плотника, слесаря, металлурга, летчика и самолетостроителя.

Показать это легко, даже и на одном словаре, не касаясь или почти не касаясь синтаксиса или речевого строя.

Но вперед надо твердо установить, что́ именно будем называть мы *художественностью слова.*

Опираясь на Пушкина, на его прямые суждения об этом, а также и на суждения всех великих русских мастеров слова, надо признать, что *художественное* слово должно обладать *тремя непременными* признаками: точность, мыслеемкость и вещественность.

*«Точность и краткость* — вот первые достоинства прозы, — говорит Пушкин. — Она требует *мыслей* и *мыслей* — без них блестящие выражения ни к чему не служат». И не ясно ли, что глубина и обилие мыслей в слове, при его краткости, это и есть *мыслеемкость.* Тут все само собою понятно. Но что касается *третьего* признака художественности, который мы назвали *вещественностью* слова, то об этом надо сказать подробнее. Под *вещественностью* слова следует разуметь его *осязаемость, зримость, предметность, изобразительную наглядность, его соответствие материальному, вещественному миру.*

Когда в старину хотели сказать, что женщины в одной большой, неделеной семье редко, дескать, живут в мире, — свекровь и золовка с невесткой, — а вот, мол, мужики в такой семье легко уживаются друг с другом, то обычно эту житейскую истину выражали всем известной пословицей: Две *прялки* врозь под лавкой лежат, а семь топоров — вместе». Сколь *вещественно-точно* избран здесь самый предмет для уподобления — прялка! Именно она, а не что-либо иное. Молодежь об этих прялках уже и представления не имеет, ну, а кто ее видел, помнит, до чего она угластая и неукладистая: две-то прялки и впрямь трудно уложить под лавкою рядом та̀к, чтобы ни одна из них не соскальзывала с другой и не высовывалась. А топоры — иное дело: набросай их, они и все семь вместе будут лежать укладисто, спокойно.

А еще вспомнилась мне дагестанская пословица: «Два арбуза в одной руке не удержишь». Уж куда *вещественнее!*

Следует помнить, что все три признака художест-

венности слова — точность, мыслеемкость, вещественность — нераздельно едины, хотя и в разном соотношении. Легко представить себе такой случай, когда *смысловая* обширность или объем может идти во вред художественной силе слова, его вещественности, зримости, осязаемости.

Возьмем первые слова всем известной песни: «Вó поле березынька стояла, вó поле *кудрявая* стояла...» — попытайтесь заменить слово «березынька» словом «дерево»: «Во поле *дерево* стояло, во поле кудрявое стояло...» — и вам станет смешно. И не потому только, что разрушен склад, размер песни, а потому что для каждого ясно, что эта замена уж отнюдь *не художественна*. Исчезла сразу вся зримость, вещественность, изобразительность! С березынькой навеки срослись живописующие эпитеты: «белая», «кудрявая». А слово «дерево» — смутно, оно не вызывает у нас в сознании никакого четкого, вещественного образа. Что же касается *объема* понятия, то, конечно, слово «дерево» в этом отношении гораздо шире, чем «береза».

Поэт, однако, предпочтет «березу», а не «дерево»; «полынь», а не просто «траву»!

Язык труда: язык земледелия, промыслов и промышленности — дает нам образчики мудрого, художественного сочетания, и точности, и вещественности, и смысловой емкости.

Вспомним несколько слов и речений из области земледелия: *целина, залежные земли, непашь, страда, озимые, яровые* (от старинного слова «яро» — весна). Лев Толстой посчитал вполне художественным выражение: «Яровые уже уклочились». И сколько здесь наглядности: «уклочились» — означает, что всходы стали уже густо, хорошо куститься! Художественные произведения Льва Толстого вообще изобилуют словами и понятиями из жизни крестьянина-земледельца; он любил эти слова и речи; он признавал за языком крестьянина особую силу.

«Плуг *зажирает»,* то есть излишне глубоко берет; *«Вершить стог»; «Кошенину* в стог не кладут!» (а то

сено будет гореть). Ведь какое тонкое здесь различие: «кошенина» — это *только что* скошенная, непросушенная трава, еще не сено. Или возьмите обозначение почв: «чернозем», «суглинок», «супески». И точно и зримо. Кстати, о последних двух словах: одна частица «су», в качестве приставки, уже сама по себе, помимо других ее значений, дает понятие о *примеси,* о *недохватке* чего-либо, о *слабой степени:* «*су*глинок», «*су*пески», «*су*мерки», «*су*горбый»...

А вот маленький образчик языка животноводства:

— Кóрмите скот хорошо, — он *чист, росл, гладок, силен, здоров....* Стали кормить худо, впроголодь, плохим кормом — скот начинает слабеть, паршивеет, болеет, совсем вид его становится другой; тот же скот, да не тот: *сгорбился, космат стал, грязен...*

Мне думается, любой художник слова не счел бы для себя зазорным подписать такой отрывок: столько в нем изобразительной силы!

А сейчас, минуя целый ряд профессий, сделаем резкий переход к языку гидрóстроительства, горного дела и самолетостроения.

Помню, во время забивки плотинной сваи с копра, закопёрщик махнул рукой и крикнул:

— Дошла — *оттряхивает!*

И все стало сразу ясным и зримым: свая забита до отказа, так, что стальная баба, ударяя по оголовку этой сваи, только отскакивает... А какие чудесные слова: *водохранилище, водосвал, водобой, гидроузел, устои, быки, понур, ряж, плотина, ограждающий вал!* И ведь подобных слов в гидростроении сотни.

Издавна славятся красотою — изобразительной силой своего производственного языка геологи и горняки: *кряж, хребет, пласт, слой, руда, изверженные породы, глыба, кровля пласта, самородок, свита горных пород* и так далее, и так далее — ведь это же алмазные россыпи языка! А в горных работах, в «проходке»: *забой, лава, лоб забоя, устье выработки, ствол;* да одних креплений сколько: и *срубовая*

*крепь,* и *венцовая,* и *жесткая,* и *податливая,* и *костровая,* — все зримо и ясно.

А разве язык летчиков и самолетостроителей уступит по красоте и силе! Вот образчики: *угол атаки крыла; сила лобового сопротивления; пологое снижение; подъемная сила самолета; поступь винта; ометаемая винтом площадь; размах крыла; лопасть; корень лопасти...* Кстати, об этом слове: если мы вздумаем изъяснить это короткое и для всякого русского человека столь самоочевидное понятие «лопасть», то придется написать, что это «основная рабочая часть лопастного аппарата со специально профилированной несущей поверхностью, воспринимающей аэродинамические или же гидродинамические силы».

Изумителен по своей самобытной русской красоте язык специальных сочинений «отца русского самолетостроения», гениального ученого Николая Егоровича Жуковского. Он убежденно и целеустремленно трудился над очищением своей науки от излишней, «непереваренной» иностранщины. Есть у него, к примеру, высокого научного значения труд «О парении птиц». Он преисполнен высшей математики, однако вот образчики словесного изложения в этом труде: «Парением называется такой вид полета птиц, при котором она не машет крыльями...»

Как хорошо, как зримо и просто!

Или: «Орел, расположив свои крылья против ветра, поднимается вверх по ветру и, не сделав ни одного удара крыльями, забирается кругами на большую высоту...»

Разве это не художественно?

Не только Николай Егорович Жуковский, но и решительно все великаны русской науки — и Павлов, и Тимирязев, и академик Крылов, и многие другие — стремились очистить ее язык от забивающей ее, без нужды нахватанной иностранщины. К сожалению, их большие усилия в этом направлении остались необъединенными. При Академии наук хотя и была создана особая комиссия по научной и технической терминологии, ставившая одной из главных задач утверж-

дение и создание русских научных обозначений, но здесь, нам кажется, было некоторое упущение: в этой многочисленной комиссии не было *ни одного ученого языковеда.* А ведь, естественно, ему-то больше всех других должны быть ведомы и необъятные сокровища русской речи и многообразнейшие, поистине неистощимые возможности русского словообразования, законы создания новых слов.

Да и не излишним было бы, нам кажется, привлечение к этому огромному патриотическому делу и писателей и поэтов. Здесь пригодилась бы — и весьма! — их высокая чуткость к родному слову и присущая истинному художнику слова смелость в словообразовании.

А в неизмеримом океане языка многомиллионных трудовых масс найдутся слова, способные изъяснить и выразить все на свете, слова, достойные великого народа и великой эпохи, такие, как *спутник,* такие, как *звездолет,* как *Советы!*

## О МНИМОЙ СТИЛИСТИКЕ

1

НЕКОГДА начатый на страницах «Литературной газеты» большой разговор о языке, захвативший широчайшие читательские круги, неожиданно был прекращен: хватит, дескать, поговорили! Не увидели света уже подготовленные к печати многие выступления и письма, в том числе две статьи: ленинградского доцента Г. Нефёдова — о словарях русского языка, и московского писателя Н. Леонтьева — о соотношении устно-народного и писательского языка. Глубокий и страстный спор о самом, казалось бы, насущном в искусстве слова — о само́м слове, о речестрое, о народности языка писателей, спор, перераставший уже во всенародное обсуждение, вдруг смолк, словно под глушилкой. Правда, появился-таки принятый в таких случаях краткий завершающий обзор писем и откликов. Обзор назывался: «Беречь русский язык». Неплохо! И уверенная, должно быть, что столь бесспорный призыв удовлетворит спорящих, редакция сочла за благо воздержаться от предъявления своих собственных взглядов на предмет спора. Сначала многие досадовали: как же, мол, это так, редакция всесоюзной писательской газеты — и не обладает своими взглядами по столь наболевшим вопросам?! А потом мало-помалу поуспокоились. Ведь и в самом деле: не обязательно же всем членам редколлегии — людям различного языкового воспитания — быть «за едино сердце»! И, наконец, разве мало проявлено единомыслия в призыве «беречь русский язык»? Нет, редакция правильно поступила, не бросив свой голос на одну из чаш дискуссионных весов. Она показала этим свое беспристрастие. Таковым стало сужде-

ние многих после первого взрыва недовольства. Ан оказалось не так! Впрочем, о том, что́ же именно «оказалось», поговорим чуть попозже, а сейчас постараемся выяснить, действительно ли призыв *«беречь русский язык»* способен был объединить и успокоить участников спора. Заранее отвечаю: нет! Почему же? А потому, что каждый из противников понимает этот призыв по-своему! То же самое относится и к часто повторяемому призыву — бороться за *чистоту* русского языка. В этом-то именно прямо противоположном толковании «чистоты» и «бережения» языка, в особенности литературного, и состоит весь узел спора, нет, не спора даже (это слишком мелко!), а *борьбы,* уже многолетней и непримиримой: ибо примирение здесь означало бы беспринципность, а соглашение — соглашательство!

А теперь попытаюсь вкратце изложить сперва одно из борющихся воззрений, а затем другое.

«Писатель *не должен нарушать литературные нормы!»* — вот основная заповедь одних. «Какие такие «нормы»?» — спрашиваешь. «Лексические и грамматические», — отвечают. Да! Спор, вернее борьба, идет в двух разделах: *словарь* писателя и его *речестрой.* Последнее понятие объемлет собою и так называемый «стилистический синтаксис», то есть личный, художественно-целевой синтаксис писателя.

Вот вам образчик «заклинания» нормами из статьи В. Левина «Язык в художественном произведении»:

«Правомерность того или иного слова или формы может оцениваться принципиально по-разному, в зависимости от того, имеем ли мы в виду «общий» язык или язык художественного произведения. К сожалению, эта элементарная истина часто игнорируется в рассуждениях о языке. В этом я вижу, например, источник заблуждений А. Югова и его единомышленников, которые, темпераментно и целеустремленно настаивая на праве писателя пользоваться разными пластами языка, в том числе и такими, которые *выходят за пределы нормы современного литературного употребления, походя пытаются уничто-*

*жить и сàмое понятие нормы.* (Курсив здесь и ниже мой. — *А. Ю.*). А. Югов обвиняет в бедности языка художественных произведений не их авторов, а составителей словарей: они, видите ли, своими ограничительными и запретительными пометами отпугивают писателей. Но ведь словари только фиксируют то, что реально существует в языке. Ведь *взлезть, нету, беремя, непогодь, по-за* — действительно слова нелитературные, *кто же станет отрицать это?»*

«Кто? Да каждый, кто знает русских классиков!» — хочется ответить тотчас же на этот риторический, весьма самоуверенный, хотя и явно необдуманный вопрос.

В самом деле, если И. С. Тургенев пишет о Рудине, что он «*взлез* на телегу», то уж и этого одного, я полагаю, достаточно, чтобы считать форму «взлез» вполне литературной. Или у Лескова: «*взлез* на дерево». Ну, а у Бунина: «Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, *взлезает* на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом». Правда, здесь защитник псевдолитературных «норм» может попытаться найти выход из неловкого положения в том, что это, мол, о собаке сказано, а потому Бунин и позволил себе нелитературную фóрму. Разве что!.. Но шутки в сторону. Как-то даже неловко объяснять человеку, берущему на себя труд учить писателей «элементарным истинам» в языке, что и «взлез», и «нету», и «непогодь», и «беремя», и двойной предлог «по-за» — что все это *общерусское*, отнюдь не «областное» и не «диалектное», и что все эти речения можно найти у многих классиков и, уже само собой разумеется, в их собственной авторской речи. И уж если это одно обстоятельство не решает вопроса о «литературности» данных слов, то — да простится мне «просторечие»! — на черта нам такая «литературность»! А говоря спокойно, термин этот («нелитературное», «литературное») настолько шаток, исполнен вкусовщины, лишен строгого терминологического смысла, что сама целесообразность его применения сомнительна.

А мы убежденно говорим: *весь язык русско-*

*го народа литературен* — в том смысле, что право писателя на использование всего многообразия и богатства его форм нельзя ограничить, регламентировать. И пока эта простая, хотя для некоторых и страшная, истина не будет принята всеми, кто изучает русское слово, обучает ему или писательски орудует им, до тех пор не прекратится борьба, до тех пор русская художественная проза, русский стих да и в целом весь язык письменности будут претерпевать ущерб. А в еще более страшном итоге, если только запретителям дать волю еще на несколько лет, пойдет на свалку две трети русского словаря, который миллионы предков наших в трудовом и ратном поту создавали тысячи и тысячи лет. Туда же пойдет и язык Толстых, обоих — и Льва и Алексея Николаевичей, и Лескова, и И. А. Бунина, не говоря уже о языке Н. В. Гоголя. Удивительно, как еще терпят язык Маяковского: если бы современным сенковским и каченовским дать волю, то все творения Маяковского запестрели бы ярлычками: «просторечие», «вульгаризм», «архаизм», «областное», «устарелое», «спец», «профессионализм» и т. д., и т. д.

Не думайте, что я преувеличиваю и возвожу на противников наших обвинения бездоказательные.

Читатель, быть может, помнит, что в статье своей «Эпоха и языковой «пятачок» («Литературная газета» от 15 и 17 января 1959 года) я цифрами доказал, что в одном из современных словарей звания «литературных» удостоено лишь восемьдесят пять тысяч слов, тогда как в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля под редакцией профессора Бодуэна де Куртенэ было двести двадцать тысяч слов (1914 год!). Из этого легко было заключить, что из русского языка удалено сто тридцать пять тысяч слов. Ведь это же непреложный факт.

К этому добавим, что среди пощаженных слов многое множество все ж таки поставлено под сомнение ограничительными или даже прямо запретительными пометами. Так, например, помета «просторечие», по словам предисловия к словарю, «имеет характер *предостережения* от употребления слова

в книжном языке». Для иного редактора — а у нас еще есть в издательствах люди узкого языкового сознания! — такой пометы за глаза довольно! Своего суждения о дозволенном и недозволенном в литературном языке у него нет, перед суждением любого справочника он склоняет покорно и свою голову и норовит — голову писателя. А уж что говорить о тех ста тридцати пяти тысячах слов, которые попросту совсем извергнуты из словаря «русского литературного языка», — их-то уж прямо на свалку! Было от чего прийти в негодование и ужаснуться. Я и не скрыл своего душевного состояния от читателей. И многие, очень многие, и не только поэты и писатели, но и учителя, агрономы, колхозники, горняки, строители, работники здравоохранения, домашние хозяйки, пенсионеры, разделили со мною тревогу и ужас перед тем опустошением бесценной народной сокровищницы языка, учинить которое еще с давних дореволюционных времен настойчиво пытаются всевозможные гонители «просторечия», «архаизмов», «профессионализмов», «диалектизмов» и прочих лженаучно измышленных «измов», на которые, словно на клетки, разбитым оказывается единое море русского языка.

Однако нашелся такой «деятель» науки, который с потрясающим цинизмом заявил на страницах «Литературной газеты»: из двухсот двадцати тысяч слов выброшено сто тридцать пять тысяч? Ну и что ж такого? Туда им и дорога! Вы не поверите? Вот вам цитата из его суждений: «А. Югов, на наш взгляд, не разобрался в природе литературного языка. Известно, что в 4-м издании словаря Даля двести двадцать тысяч слов, а в новом словаре — восемьдесят пять тысяч (то есть исключено из литературного языка, страшно молвить, сто тридцать пять тысяч слов. — *А. Ю.*). Но ведь никто не «исключал» этих слов из литературного языка — они *никогда не были литературными»* (курсив мой. — *А. Ю.*).

Только человек «внешний языку» мог написать этакие слова! До чего же пустомыслом предстает наш народ, если две трети созданного им в течение

веков словаря нельзя удостоить права на литературность!

Как не вспомнить здесь В. А. Жуковского! А ведь пурист был из пуристов! «Слово не есть наша произвольная выдумка: *всякое слово, получающее место в лексиконе языка, есть событие в области мысли!*»

Это гениально! Выделенное мною изречение Жуковского следовало бы иметь перед своим умственным взором каждому редактору, любому лексикографу. И особенно — если они склонны выдвигать лексикографию как науку «агрессивно-нормативную», а не как науку *историческую*.

## 2

Нормативная лексикография — пережиток.

Все, вероятно, помнят, как Сенковский — что и говорить, лингвист большого ранга! — яростно нападал на местоимения *сей* и *оный* и как Пушкин, возмущенный этими нападками, назло Сенковскому стал даже и без нужды учащать эти оба местоимения. Гоголь по этому поводу сказал о Сенковском: «Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей и оный*, которые показались ему, *неизвестно почему*, неуместными в русском слоге».

И еще мне вспомнилось. Тот же Сенковский вздумал уличать Дениса Давыдова в погрешностях против русского языка. Силы, казалось бы, столкнулись неравные: как языковед, как грамматист что́ такое Давыдов перед Сенковским, чье ученое имя даже и доселе чтится лингвистами! Однако тот, кого мы привыкли называть основоположником русского литературного языка, заведомо принял сторону поэта Дениса Давыдова: «Сенковскому учить тебя русскому языку — все равно, что евнуху учить Потемкина», — пишет Пушкин Давыдову.

И это не потому сказано столь решительно, что Пушкин ненавидел ученого лингвиста, омрачившего свое имя в качестве Барона Брамбеуса, и, напротив, благоволил к Денису Давыдову. Нет, не потому!

Пушкин хорошо знал ту истину, которую признавали и ученейшие из наших языковедов, а именно то, что неискушенное языковое сознание сплошь да рядом куда вернее, тоньше, дерзновеннее и более в духе языка способно управиться и со словарем своего народа и речестроем, чем иной, даже исполненный учености аналитик языка. Знатоку языка незачем это и доказывать. Достаточно напомнить хотя бы «Причитания Северного края», собранные Барсовым, Афанасьевское собрание русских народных сказок или «Великорусские народные песни», изданные А. И. Соболевским. Сколько почерпнет там каждый великолепнейших, изящнейших образцов русской речи на всех ее высотах, во всех житейских применениях! А «Пословицы русского народа», собранные Далем? О, какую еще грамматику русского языка можно написать, опираясь на эту сокровищницу! Лермонтов и одною «Песней про купца Калашникова» обессмертил бы свое имя. Но разве можно забывать, что и словарь, и речестрой, и самый склад и лад этой великой трагической поэмы Лермонтова взяты у народа, что родниками устной народной словесности напоено это дивное творение?!

### 3

Мы утверждаем: *весь язык русского народа литературен.* Понимать это следует так: одна его половина — *осуществленно литературная,* а другая — *потенциально литературная.* Одна — успевшая вокнижиться, а другая — нет. И надо прямо сказать: если «нормировщики» литературного языка преуспеют, то многим языковым ценностям не суждено будет включиться в литературный оборот. Истлеет в сундуках «фольклористов» похороненная там лишь для анатомических целей, но и поныне живая бесценная сокровищница русской всенародной речи.

Считаю неоспоримым следующее историческое обстоятельство: так называемые «литературные нормы» русского языка, и ныне действующие (вернее,

злодействующие), — они установлены были «сверху», в императорской России. Это — *классовые* нормы. Сие впервые замечательно обнажилось еще в нападках Сумарокова на словарь холмогорского крестьянина-помора Михайлы Ломоносова. Вот что писал Сумароков, разбирая оду Ломоносова: «Строфа XII: — О *коль согласно там бряцает... Бряцает* и *бренчит* есть слово самое подлое, но еще *бренчит* лутче, что оно употребляется, а *бряцает* не употребляется никогда, и есть слово *новомышленное* и подло как выговором, так и наименованием...»

А разве в нападках профессора Каченовского и его соумышленников на просторечный словарь «Руслана и Людмилы», «Полтавы», «Евгения Онегина» — не это же самое брезгливо-классовое, безотчетное отвержение «мужицких» слов и речений? Вспомним: блюстители тогдашних «литературных норм» находили *низкими, бурлацкими, неприличными для дамских ушей,* как жалуется сам Пушкин, такие слова и выражения, как *усы, визжать, вставай, расцветает, ого, пора, хлоп, молвь, топ, дровни,* и множество других.

У Пушкина, чуть ли не впервые в поэзии, можно было встретить, вопреки «лексическим литературным нормам», слова *тын, крапива, кружка.* Это казалось дерзким. Вспоминая об этом, Белинский писал: «Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, и фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтобы уничтожить эти австралийские табу в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина — так они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина — исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия».

Полезно вспомнить, что еще в XVIII веке была попытка создать жесткий нормативный словарь с неодобрительными и запретительными пометами на «простонародные», то есть, читай, крестьянские,

слова и вообще слова рабочего люда. К счастью, неотвратимым ходом исторического развития речевая стихия многомиллионных трудовых масс, стихия так называемого просторечия, с каждым годом все больше и больше размывала перемычки и дамбы, назначение коих было отгородить на вечные времена язык образованного, «благородного» общества от языка «черни».

С приходом писателей-разночинцев это размывание перемычек и перехлестывание через них всенародной языковой стихии становится все сильнее и сильнее.

Даже наиболее закоснелые из охранителей «лексических норм» вынуждены отступать.

И если «Словарь Академии Российской» 1789 года включает всего лишь около пятидесяти тысяч русских слов, дозволенных, так сказать, к речевому обиходу в «приличном обществе», то академический словарь 1847 года содержит уже около ста семнадцати тысяч слов, то есть количество русских слов, удостоенных учета лексикографов, возросло более чем вдвое! И при этом огромное множество слов предстает освобожденным от каких-либо ограничительных, предостерегающих или запретительных помет.

Было бы, однако, ошибкой считать, что демократизация литературного языка в ту пору совершалась в итоге обезличенно-стихийного процесса. Нет! Основоположник русского литературного языка, как по праву именуется Пушкин, боролся за эту демократизацию не только как творец-художник, но и как лингвист-теоретик. Нет нужды напоминать его всем известные споры с «бутырскими критиками» — с группой «Северной пчелы» и «Вестника Европы». Об этой многолетней и яростной борьбе, как о борьбе исполина, и говорит с чувством преклонения Белинский. Однако мы иногда забываем, что плечом к плечу с Пушкиным боролся за широчайшее вокнижение народной речи, за коренную демократизацию литературного языка другой исполин — Гоголь. Боролся он, подобно Пушкину, не только «практикой»

своих творений, но и теоретически — в статьях и обзорах, как лингвист, как литературовед.

И, наконец, третье великое имя должны всегда мы здесь называть — это Крылов...

Пушкин. Гоголь. Крылов.

На язык и слог Гоголя Греч, Сенковский вкупе с другими надзирателями благочиния в литературном русском языке нападали в еще более оскорбительных выражениях, чем на язык Пушкина. О языке Пушкина ревнители старых канонов, грамотники, воспитанные на понятиях Готшеда, этого «тяжелого педанта», как назвал его Пушкин, — люди, искренне уверовавшие, что грамматика Н. И. Греча отражает подлинную, реальную действительность русского языка, писали: *«Так ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский язык?»* Это еще в пределах учтивости. А язык и слог Гоголя Сенковский и его соумышленники поносили столь грубым образом, что даже и теперь, через сто с лишним лет, больно выписывать выдержки из этой брани и беззастенчивых заушений. И, конечно, в первую очередь Гоголю доставалось за обилие в его писательском словаре просторечных слов и выражений.

Зато и доселе памятна ответная отповедь Белинского: «Господа! Не пора ли бросить эту старую замашку?.. У какого писателя нет ошибок против грамматики — да только чьей — вот вопрос! Карамзин сам был грамматика, перед которой все ваши грамматики ничего не значат. Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик».

Мне особо хочется подчеркнуть здесь слова: «Ошибок против грамматики — *да только чьей* — вот вопрос!» Ибо вот уже в течение пятнадцати лет противники наших воззрений на современный русский язык не устают усердно извращать эти наши воззрения: якобы кто-то хочет посеять раздор между писателями и грамматикой, ославить грамматику. А между тем утверждение наше совсем иное. Оно гласит: современные школьные грамматики далеко не с должной полнотою от-

ражают реальную действительность современного русского языка. Писателю и поэту лучше опираться на грамматику академическую, а не на школьную. Тут большая разница, и даже очень большая! Знаменательно, что большие наши грамматисты придирками к языку писателя и дотошным «запретительством» никогда не занимались. А теперь приведем суждения Н. А. Добролюбова о грамматике Греча. Именуя Греча «бывшим сподвижником барона Брамбеуса», Добролюбов говорит: «...теперь мы уже знаем, что Николай Иванович (Греч. — *А. Ю.*) иначе писать не может. Мы знаем теперь, что если он когда-нибудь и писал по-русски, так это было очень давно, еще прежде, чем он стал писать по правилам грамматики Греча. *После же издания грамматики он дошел до того, что отверг вовсе русский язык, к явной выгоде собственной грамматики* (курсив мой. — *А. Ю.*). Он произнес даже однажды всенародно в «Северной пчеле»: «Пусть целый народ единогласно употребляет известное слово несогласно с правилами моей грамматики, я все равно скажу, что оно употребляется неправильно».

Теперь, полагаю, вполне и каждому ясно, против каких «норм», против каких грамматистов мы восстаем. Белинский окрестил их «грамматоедами». Как раз выступая в защиту языка Гоголя, он пишет:

«Пуристы, грамматоеды и корректоры нападают на язык Гоголя и, если хотите, не совсем безосновательно: его язык точно неправилен, нередко грешит против грамматики и отличается длинными периодами, которые изобилуют вставочными предложениями; но со всем тем он так живописен, так ярок и рельефен, так определителен и точен, что его недостатки, о которых мы сказали выше, скорее составляют его прелесть, нежели порок, как иногда некоторые неправильности черт или веснушки составляют прелесть прекрасного женского лица. Возьмите самый неуклюжий период Гоголя: его легко поправить, и это сумеет сделать всякий грамотей десятого разряда; но покуситься на это значило бы испор-

тить период, лишить его оригинальности и жизни».

О, если бы в наших издательствах вспоминали, да почаще, об этих простых истинах, завещанных нам великим мыслителем и критиком! Да ведь, к слову сказать, Белинский и сам был автором «Оснований русской грамматики». Значит, не был он человеком посторонним, когда властно вмешивался в споры и столкновения писателей своего времени с «грамматоедами, пуристами и корректорами». И взгляды его в этой области поражают своей неустарелостью. Будто сейчас вот сказано каким-либо ведущим языковедом нашего времени! Взять для примера хотя бы слово его в защиту *употребления*, когда оно вступает в спор с грамматикой: «Шишков не понимал, что, кроме духа, постоянных правил, у языка есть еще и прихоти, которым смешно противиться; он не понимал, что употребление имеет права, совершенно равные с грамматикой, и нередко побеждает ее, вопреки всякой разумной очевидности» (разрядка моя. — *А. Ю.*).

Я знаю, что на все мои ссылки относительно грамматики Греча и ныне смешных, а тогда опасных нападок Сенковского и Каченовского на язык Гоголя и Пушкина может последовать ответ, что, мол, это время прошло, тогда, мол, действительно в грамматике русской было немало спорного и условного, а теперь, когда минуло свыше ста лет, когда грамматика наша стоит на незыблемых научных основаниях, — какие же могут быть споры и расхождения между грамматикой и употреблением или между грамматикой и писателями?

А вот сопоставим! Пушкин, возражая критикам языка и стиля «Евгения Онегина», бросил им суровый и справедливый довод: «Грамматика наша еще не пояснена».

И что же? Проходит свыше ста лет, и один из основоположников современной русской грамматики, советский ученый, академик В. В. Виноградов свое «Введение в грамматическое учение о слове» начинает тем же самым признанием:

«...В грамматике современного русского языка разногласий и противоречий больше, чем во всякой другой науке... Грамматический строй русского языка плохо изучен» (разрядка моя. — *А. Ю.).*

Труд этот издан в 1947 году. Пушкин свои слова о грамматике написал в 1830 году.

Значит ли это, что русские лингвисты-грамматисты и лексикографы худо работали? Нет, отнюдь! Целым созвездием ученых имен всегда будет гордиться русское языкознание.

Причина именно в том, что русский язык — это поистине «едва пределы имеющие море», как справедливо о нем сказал Ломоносов. От необъятности задачи и неполнота ее исполнения! А затем есть и другая причина; о ней прямо говорят классики нашей грамматической науки: слишком долго, гораздо более ста лет, русские грамматисты принимали как незыблемый, священный завет «мертвящее начало» грамматики Готшеда и Аделунга, созданной на изучении языков мертвых; в силу этого родной язык, живое слово, «вечно юное и неистощимо богатое» в его видоизменениях исторических и местных, оставалось не только вне поля внимания грамматистов, но и объявлялось одной сплошной «неправильностью», «мужланством», «простонародным языком», «просторечием» и т. д. и т. д.

И если Ф. И. Буслаеву принадлежит заслуга первенства в том, что он смело и с полной научностью обратил внимание русских грамматистов именно к живому, речевому слову, восстал против готшедовского «мертвящего начала», то о советских грамматистах можно сказать, что они достойнейшим образом продолжают эту оздоровительную работу в литературном русском языке. Так, академик В. В. Виноградов, уже цитированный мною, указав, что главнейшие изъяны русской грамматической науки относятся главным образом к учению о слове и предложении, особо и многократно подчеркивает, что для построения «грамматической системы современного русского языка», для того чтобы пре-

одолеть «причину блужданий современной грамматики», необходимо «шире привлекать свежие факты живого языка».

С представителями *такой* грамматики у нас спора нет. Спор — с последователями Греча, Каченовского и Барона Брамбеуса, каковых еще много. «Запретители» просторечия, архаизмов и прочих «измов» в литературном языке подчас и сами не сознают, что они влачатся в удушающем хвосте былой классовой или кастовой грамматики и пиитики — Кошанского, Греча, Сенковского и других столпов давно минувших времен. Им даже обидна и непонятна такая преемственность: «Откуда?! Столько времени прошло!»

В самом деле. Если Гоголь пишет: «Плачем горю *не пособишь*, нужно дело делать», если Лев Толстой (конечно, также в *авторской* речи!) не считает зазорным написать: «Степан Аркадьич... написал ей записочку к лицу, которое могло ей *пособить»;* или: «Старый князь хвалил их... когда они приезжали в Лысые Горы *подсоблять* уборке»; или: «Разговоры с людьми... не могущими *пособить* ему», — если, короче говоря, я буквально забросать могу возражателей примерами употребления глагола «пособлять» русскими классиками в авторской речи, а какой-либо кандидат лингвистических наук продолжает мне упорно твердить, что это слово, дескать, «нелитературное», то могу я его... считать преемником Барона Брамбеуса? Думаю, что да.

Возьмем другой пример. Один доцент русской словесности упорно пытается зашвырнуть в «кладовые старого хлама» общенародно русские наречия *намедни* и *давеча,* которые наряду с множеством других слов искони были на устах русского народа, живут и поныне. Оставя академический тон, он тщится развязно вышучивать мои утверждения, что эти наречия вполне и вполне литературны. Но почему я должен больше считаться с доцентом, *преподающим* русскую словесность, а не с теми, кто ее *творил,* хотя бы они и не имели ученой степени, как, например, Пушкин и Лев Толстой?

А ведь один из них не постыдился слова *намедни* даже в «Евгении Онегине»:

Порой дождливою *намедни*
Я, завернув на скотный двор...

Другой же не побрезговал наречием *намедни* в «Войне и мире» (и, само собой разумеется, в своей, авторской речи, а не в диалоге, что, конечно, не было бы доказательно):

«Дело, случившееся *намедни,* о котором упоминал капрал, была драка между пленными и французами».

Запросто и там, где вместо *намедни* правильнее сказать *давеча,* классики русской прозы и применяют это наречие:

«Ворошилов остался в Ворожбе, чтобы вернуть и организовать хотя бы часть отступивших *давеча* отрядов» (А. Н. Толстой); «*Давеча* на вокзале, спеша с чемоданчиками... Обозов...»; «Еще *давеча* заметил Игнат...» (И. А. Бунин); «Огонь костра был невелик, горели сухие лепешки навоза, которые мужчина *давеча* подобрал...» (А. Н. Толстой).

Мне очень прискорбно объяснять людям, которые по своему положению (преподаватели русской литературы) должны бы сами знать это, что слово *нету* ни в какой степени не областное, что оно имеет особый оттенок по сравнению с «нет» и что русские классики, в частности Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев, иной раз применяли именно «нету».

Что оно не областное, а общерусское, доказуется хотя бы тем обстоятельством, что каждый из нас помнит с детства загадку «Еду, еду, следу *нету,* режу, режу, крови *нету»*. А разница между *нет* и *нету* с точки зрения грамматиста вот какая. Если в «нет» мы еще чувствуем безличный глагол (несть, не есть), то речение *нету* гораздо заметнее *онаречилось.* Я бы назвал его *отглагольным наречием.* Оно уже, как самое настоящее наречие, неподвластно нашему произволу. Речение «нет» народ, по крайней мере в поговорках своих, ухитряется еще *склонять:* «У нас всякого *нета* припасено с лета!»; «*Нетом* не возьмешь и летом»; «*Неты* считать»; «Он в *нетах* записан», «*Не-*

*том* не разживешься!» и т. д. и т. д. Что же касается «нету», то его мы уже бессильны склонять: оно слишком *онаречилось,* — процесс весьма заметный в нашем языке! Чутье языка само подсказывает, когда более уместно «нету», а когда «нет». Толстой очень тонко почувствовал «отрицательную количественность» этого речения, когда записал в своем «Дневнике»: «Прочел и понял, что таланту у меня решительно нету». Здесь я попутно подчеркнул бы у Толстого и окончание «*у*» в родительном падеже имени существительного мужского рода («талант*у*», а не «талант*а*»), а это, как ведомо всем, ныне тоже изгоняется из писательского языка справочниками-руководствами дурного тона. Между тем еще Белинский рассерженно осуждал эту унификацию: «Как природный русский, знаю достоверно, что слова эти (нос, шум, ветер, дым. — *А. Ю.)* в русском языке принимают в родительном падеже окончание равно и *а* и *у,* а когда которое именно, на это нет постоянного правила, но это слышит ухо природно-русского, слышит и никогда не обманывается». Классики русской грамматики и лексикографии поддерживали в этом вопросе взгляды Белинского и стояли за народное употребление. Так, профессор А. И. Бодуэн де Куртенэ, редактор четвертого издания «Толкового словаря» Даля, сетует, что в третьем издании не везде успели исправить порчу, нанесенную русскому языку вторым изданием словаря, и высказывается вполне определенно против унификации: «В первом издании Словаря пословицы и все прочие выражения приводились В. И. Далем в свойственной им форме *живого языка.* Так, между прочим, очень часто встречается там родительный падеж единственного числа мужеского рода на *у* (например, *дому, дыму, жару, бою, урожаю).* Редакция второго издания сочла почему-то нужным *обесцветить* и *обезличить* живой язык, навязывая ему почти последовательно предписанные однообразные формы школьной грамматики, употребляя, например, при всех существительных мужского рода родительный падеж на *а* (*дома, дыма, жара, боя, урожая*)».

4

О эти «унификаторы»! Когда же они поймут, наконец, что русский язык одним из высоких своих отличий и преимуществ считает как раз *обилие свобод, широту выбора, факультативность* в употреблении различных грамматических и лексических форм одного и того же смысла, различных ударений!

«Он проспал до *полдён»,* «Он проспал до *полудни»,* «Он проспал до *полдня»* — одинаково правильно. И что мне, писателю или поэту, по душе, то я и возьму. И не мешайте нам!

У нас даже такой, казалось бы, просвещенный орган в литературе, как «Литературная газета», с поразительной готовностью печатает иные письма-окрики, где какой-либо мало знающий свойства русского языка читатель требует, чтобы Академия наук твердо решила, наконец, как следует писать и говорить: высокó или высóко? Далекó или далёко и т. д.

А русская песня словно с вызовом бросает «унификатору»:

И высóко и далёко,
Высокó и далекó!

Запретительство — болезнь широко распространенная. Иной раз и поэт поднимается на другого поэта, уличая его всенародно в незнании русского языка, а между тем единственное вооружение обличителя — его собственное незнание. Вот поистине анекдотический случай. Московский поэт-песенник Лисянский выступил однажды на страницах «Литературы и жизни» с огромным обзором творчества «областных» поэтов. Выступил он как консультант Союза писателей. Дошел черед в обзоре и до Александра Елькина, поэта, живущего в Туле. Елькин — автор трех сборников, человек большого рабочего и фронтового пути. А это обстоятельство ведь и на языке поэта отражается благотворно! Однако литконсультанту попалась на глаза форма *кабанки».* И вот этого одного обстоятельства оказалось Лисян-

скому довольно, чтобы произнести над другим поэтом тяжкий приговор, будто он вообще плохо знает русский язык! Не верится? Вот вам выдержка: «А что означает *«кабанки»!* Если ласкательное от *«кабаны»,* то следовало сказать *«кабанчики»*. Вообще *с русским языком* А. Елькин *не в ладу»*. С больной головы да на здоровую!

Марку Лисянскому невдомек, что оба суффикса — и *ок* и *ик* — вполне равноправны: когда какой, это уж относится к расчету и выбору говорящего. Русский язык имеет «парные формы»: рот*ок* — рот*ик;* гвозд*ок* — гвозд*ик;* глаз*ок* — глаз*ик* и т. д. Замечу попутно, что суффикс *«чик»* рассматривается как ветвь суффикса *«ик»*. Об этом хорошо сказано у одного из основоположников русской грамматики — Константина Аксакова в «Опыте русской грамматики»: «В именах мужского рода уменьшительные *ок* и *ик* совершенно одинакового значения, но там, где встречаются оба окончания, есть оттенок. Тогда окончание на *ок* выражает просто уменьшенный вид предмета, между тем как в *окончании* на *ик* слышится уже шутка и если еще не ласка, то *любезность...* видно, что уменьшительный, миниатюрный предмет представляется *милым»*.

Единственное, в чем, стало быть, можно было упрекнуть А. Елькина, — это в том, что он почему-то не питает нежных чувств к данному животному. Но зачем навязывать поэту чувства, которых он не испытывает?

Гонение на воображаемые неправильности, на грамматические *«двоякости»* и даже *«троякости»* языка вообще стало чуть ли не специальностью некоторых людей.

Вот еще несколько подлинных случаев.

Редактор вычеркивает форму *«плечей»* и требует *«плеч»*. А между тем у Бунина (который знал-таки русский язык): «Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть *плечей...»*, или: «И удивительный золотистый цвет лица, *плечей...»*

Писателю Н. никак не удалось отстоять слово «гнуткий»: «Гнуткое удилище». «Зачем фокусни-

чать? — сказал ему редактор. — Есть всем понятное слово *гибкий*. И не оригинальничайте!» Увы! У бедняги не было на тот час под рукою «Записок об ужении рыбы» С. Т. Аксакова! А ведь чистота и безупречность аксаковского языка признается всеми. И вот наряду с прилагательным *«гибкий»* С. Т. Аксаков неоднократно пользуется и словом *«гнуткий»,* видя в нем особый тонкий оттенок. Какой же? А оттенок *страдательности,* что это *неживой материал, взятый в руки.* Удилище — *гнуткое.* Девушка — *гибкая.* Вот этого-то тонкого различения, коего исполнен язык русского народа и классиков, недостает «запретителям», хотя иной раз и обладающим учеными степенями. Итак, у С. Т. Аксакова: «Тонкая леса моя была так крепка, удилище так *гнутко»;* «Надобно крепкую лесу, очень *гнуткое* удилище».

А вот и у Лескова — того самого, у которого учиться русскому языку призывал нас Горький, — видим мы это слово:

«В другом же углу загнуты под колесом *гнуткие* драницы...» Но, само собой разумеется, что ни Аксаков, ни Лесков не изгоняют и слова *«гибкий»,* — когда что! Решает воля художника слова!

В силу того неотъемлемого права, о котором уже было сказано, Н. С. Лесков предпочел в ряде случаев глагол *«выгинаться»* и *«загинаться»* глаголам «изгибаться» и «загибаться», хотя от первых двух и доселе с ужасом отворачиваются «блюстители литературных норм», тогда как два последних глагола признаны «литературными»: «*Выгинаясь,* кланяясь и вытягиваясь, как придавленная палкой змея, подьячий подползал к боярину...»

Какая живопись словом! Формой «выгинаясь» Лесков не менее, чем словом *«змея»,* показал приниженное подползание подьячего, змеевидность его движений. Поставьте «выгибаясь» — и все будет испорчено! «Выгибаться» можно и вызывающе. Звук *«б» огрубляет,* придает *жесткость, твердость.*

Буквально неисчислимы у наших классиков «просторечные» слова — термины крестьянского быта.

Но, увы, находятся такие горе-теоретики литературы, которые считают, что с появлением комбайна русский язык устраняется!

Припоминается, как за обедом в усадьбе Вронского все общество, а в том числе и Анна, высмеивает Весловского, типичного аристократа-дармоеда, за его беззаботное незнание языка строителей:

«— Да ну скажите, Весловский, чем соединяют камни?

— Разумеется, цементом.

— Браво! А что такое цемент?

— Так, вроде размазни... нет, замазки, — возбуждая общий хохот, сказал Весловский».

Среди писателей советской эпохи не должно быть весловских!

Маяковский, который чуть ли не сплошь «просторечен», властно рвет, как серпантин, опутавший ноги, все «нормировочные» запреты, — Маяковский гениально и многократно показал, что даже «вульгаризмы» могут служить поэту для выражения и возвышенно-трагического и самых неизъяснимых в своей тонкости и нежности чувств сердца. О *гибели Пушкина* говорится, и однако:

Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.

Маяковский — это замечательнейший пример *воссоединения* всех пластов и разрядов народного словаря. Он явился великаном, ниспровергнувшим «нормативную лексикографию». У него просторечие, вульгаризмы изумительно работают в прямом соседстве с *архаизмами*. Он любит и этот разряд русских слов.

Архаизмы! «Ах, зачем он употребляет эти архаизмы и славянизмы?» Многое, очень многое можно бы сказать в ответ на эти попреки.

## 5

*«Щекотливостью мещанской* журнальных чопорных судей» называл Пушкин гонение на «слог *простонародный»*. Он с гордым вызовом бросал врагам просторечия: «Никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под.»

Эту же «щекотливость мещанскую» в языке высмеял и Гоголь в образе дам из города Н.:

«Еще нужно сказать, что дамы города Н. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка»... Чтобы еще более облагородить русский язык, половина слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых».

И все ж гоголевские дамы выбросили только *половину слов* из русского языка, а их поздний последователь, упомянутый мною преподаватель литературы в пединституте, вышвыривает две трети русского словаря, да еще и «осклабляется» на мои сетования. Тут слышится мне читательское: «Да что вы, в самом деле, никак не можете забыть необдуманные слова человека, о котором вы сами говорите, что это — человек внешний языку?» Так-то оно так, да вот беда: этим суждениям нашла место та же самая «Литературная газета», которая долгое время открывала свои страницы для серьезного, большого разговора о языке. Здесь все странно: после краткой обзорной статьи читательских откликов, из которой с несомненностью выявлялось, что огромное большинство настроено против запретительства и нормативной лексики, вдруг изрядное время спустя, в номере от 28 апреля 1959 года, появляется круп-

ный заголовок: «Прав ли А. Югов?» Что это — продолжение дискуссии? — недоумевали читатели. И естественно: раз так ставится редакцией вопрос, то следует ожидать, что одни скажут: «прав», а другие: «не прав». Нет! Напечатаны статьи преподавателя Л. Барласа и доцента С. Цаланчука. Оба они утверждают, что Югов не прав.

Редакция же отмолчалась. На этом все и закончилось. Странно, странно!.. А самое удивительное, что редакция «Литературной газеты» не сочла нужным отмежеваться от суждений, содержащихся в этих статьях, будто бы сто тридцать пять тысяч слов никогда даже и не были литературными... Но ведь не хочется же верить, что редакция писательской газеты, нашего центрального органа, исповедует и сама такие чудовищные взгляды на русский язык!

Доцент С. Цаланчук пишет:

«Как явствует из статьи А. Югова, он считает слова «нету», «непогодь», «зимник», «по-за» (предлог), «беремя», «трухлявость», «пособить» и некоторые другие чисто литературными. Основание? Эти слова употреблены в произведениях русских классиков. А в каком произведении, в какой ситуации, в речи автора или в речи персонажей? Это Югова не интересует, это, видимо, по его мнению, не столь важно».

Нет, это важно! Но доценту русской литературы С. Цаланчуку надлежит и самому знать, что все приведенные мною русские слова, «не рекомендованные к литературному употреблению», взяты именно из *авторской* речи наших великих писателей, о чем редакции «Литературной газеты» было известно. Знай он это, отпала бы и надобность в его риторическом вопросе!

Пусть не поймут меня так, что, дескать, если бы все перечисленные выше слова были из диалога, то это в какой-то степени опорочило бы их право на «литературность». Мне ли так думать! И все-таки в данном споре весьма важно, что оные слова и речения взяты мною из собственной авторской речи творцов русской художественной литературы: от это-

го еще больше обнажается смехотворность и ненаучность все еще нередких попыток объявить эти слова «нелитературными».

Однако легко привести примеры, когда ради «речевого портрета», ради комизма, гротеска писатель вкладывает в уста какого-либо действующего лица слова и словечки или явно жаргонные, или диалектно искажённые в фонетическом отношении, наконец бранные, — и вряд ли кому-либо в голову придет «обогащать» литературный язык за счет таких слов. Но разве об этом речь?!

Здесь, кстати, следует заметить, что среди «блюстителей» чрезвычайно сильна привычка злоупотреблять словами Горького о «балахонском наречии». Едва только заговоришь об устарелости классовых, гимназических литературных норм, о том, что глубинная и безбрежная стихия устного народного языка еще далеко не исчерпана писателями, как сейчас же слышишь в ответ: «А вы забыли, как влетело Панферову от Алексея Максимовича за «балахонское наречие», за его «пыжжай» и «подъелдыкивать»?!»

Но к существу нашего спора о просторечии, о его великих красотах, о первичности устноречевой стихии, о ее неизмеримых силах, о закоснелых и ветхих нормах вопрос о фонетических диалектных искажениях отношения не имеет.

Что же касается частностей, то, несмотря на решительное и даже сердитое осуждение Алексеем Максимовичем слова «скукожиться», у Маяковского оно есть и выражает именно то, что хотел выразить поэт: «любовь поцвётет, поцветет и скукожится».

Мне кажется, что диалектные отличия в едином русском языке иными исследователями непомерно раздуваются. Это уже микроотличия. И речь идет лишь о фонетической, произносительной разнице и о каком-то небольшом количестве местных, областных слов, которые еще не переплавились в исполинской домне единого русского языка и судьба которых еще не определилась.

Несколько десятков лет назад и слово «земляника» было областным!

В этом вопросе я убежденный сторонник ломоносовско-далевской точки зрения, которую разделяли и великие наши грамматисты Буслаев и Шахматов.

Настаивая на ничтожности диалектных различий в едином русском языке, Ломоносов противопоставлял русский язык в этом смысле немецкому:

«Народ российский, по великому пространству обитающий, не взирая на дальнее расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того в некоторых других государствах, например, в Германии, Баварской крестьянин мало разумеет Мекленбургского, или Бранденбургской Швабского, хотя тогож Немецкого народа».

Даль говорил писателям, что, очистив данное русское слово от фонетического искажения, свойственного данной области, они смело могут ставить в свое произведение любое русское слово. Исключений будет немного, добавлял он.

Академик Шахматов утверждал: «Главный и единственный авторитет в языке — это обычай, употребление».

И особенно дорого для писателей и поэтов, что в другом своем высказывании о языке этот великий лингвист, грамматист и лексикограф к авторитету народа в языке присоединяет авторитет писателей:

«Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение, вместо того, чтобы показывать, как говорят, решилось указывать, как надо говорить. Очевидно, что такое учреждение упразднило бы таким образом два авторитета, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка, — это, во-первых, авторитет самого народа, во-вторых, авторитет писателей — представителей духовной и умственной жизни народа».

Что прибавить к этим словам классика русской лингвистики?

Необходимо раз и навсегда покончить с попыткой моих возражателей представить дело так, что будто

бы В. И. Ленин осуждал словарь Даля. Напротив: он был *восхищен* беспримерным трудом знаменитого русского лексикографа. Да, было справедливо замечено В. И. Лениным, что В. И. Даль вобрал в свой словарь и множество чисто областных слов. Лексикограф же и сам заявлял, что он буквально ничего не смел исключить, что он стремился с предельной полнотой отразить наличную действительность языка по его *говорам, по областям* и *даже более мелким единицам — уездам.*

Но ведь главное-то в суждении Ленина то, что он считает словарь *великолепной вещью,* и ведь Владимир Ильич прямо сожалеет, что ознакомился с этим словарем *впервые.* Вот что главное! А напирать лишь на то место, где говорится *об областническом* характере данного словаря, это значит извращать смысл суждения!

Вот какую оценку словарю Даля дает Ленин в письме к А. В. Луначарскому:

«Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — ознакомиться со знаменитым словарем Даля.

Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел».

Справедливость последнего замечания можно показать даже и на одном примере: наряду со словом общенародным *брюква* В. И. Даль привел и безнадежно местные, областные наименования сего корнеплода, как-то: *калига, бушма, желтуха, земленуха* и т. д. Никто из классиков этими наименованиями не пользовался. Никто из современных писателей в них тоже нужды не имеет, эти слова не вошли во всеобщее употребление. В. И. Даль и сам высказался по этому вопросу с полной ясностью:

«Я, впрочем, никогда и нигде не одобрял безусловно всего, без различия, что обязан был включить в словарь: в ы б о р  п р и н а д л е ж и т  п и с а т е л ю».

Вот за это, подчеркнутое мною, — выбор принадлежит писателю, — боремся и мы.

Включены были Далем в словарь и такие слова, устарелость коих отмечал еще Ломоносов, например

«свене» (то есть *кроме, сверх*) и «рясны» (то есть *бахрома, кисти*). Да и как же можно не посчитаться с тем фактом, что со времени выхода первого и второго изданий далевского словаря прошло около ста лет, а со времени выхода четвертого издания, дополненного профессором Бодуэном де Куртенэ, — полвека! Устарелость надо относить не только к составу слов, но и к их толкованию, которое иной раз было реакционно в отношении некоторых понятий социологического, политического или философского порядка, а в других случаях отстало от хода науки. Академия наук СССР не зря трудится сейчас над изданием н о в о г о словаря, который будет включать двести тридцать тысяч слов, а быть может, и еще больше, то есть будет превосходить словарь Даля, где только двести двадцать тысяч слов.

Никогда и никому из лексикографов не говорил Ленин, что из русского словаря нужно изъять сто тридцать пять тысяч, то есть две трети, чтобы создать литературный словарь.

Высокая ленинская оценка, данная словарю Даля, вполне заслужена этим титаническим сорокасемилетним трудом прославленного лексикографа, трудом о д н о г о человека! Для того времени это была непревзойденная по своей полноте сокровищница русского языка.

### 6

На подмогу авторам, выступившим под газетною «шапкою» «Прав ли А. Югов?» пришел П. Пустовойт. В журнале «Вопросы литературы» появилась его статья под названием «Через жизнь к слову». Как можно слово отделять от жизни *человека*, противопоставлять эти два понятия, — недоумеваю!

П. Пустовойт не обинуясь обвиняет меня в том, будто я хочу столкнуть «индивидуальное писательское употребление» с нормативной грамматикой. Речь шла о деепричастиях типа *пиша, рвя, пекя, стригя, мня, жня* и т. п.:

«Обнаружив у русских классиков XIX века (например, у Пушкина, Л. Толстого) форму деепріча-

стия «пиша», у Маяковского — «жря» и «спя», что в индивидуальном писательском употреблении было вполне допустимым, А. Югов считал возможным и сейчас разнообразить язык за счет деепричастий типа «стригя», «берегя», «секя». А так как нормативная грамматика этому противится, А. Югов критикует ее (в данном случае «Грамматику русского языка под редакцией Л. В. Щербы»)».

Здесь все неверно!

Действительно, в школьной грамматике для 5—6-х классов такие деепричастия безоговорочно запрещены, вернее отрицается даже самая возможность их образования: «нельзя», — написано, и крышка: «От некоторых глаголов совсем нельзя образовать деепричастия несовершенного вида: *стричь, беречь, сечь, писать*».

Такой запрет есть ошибка. Делать его достоянием *нормативной* грамматики нельзя. Виднейшие авторитеты современной русской грамматики говорят прямо противоположное. Раскройте известный труд академика В. В. Виноградова «Русский язык (Грамматическое учение о слове)» на странице 385 и прочтите:

«Академик С. П. Обнорский считал на свой слух вполне возможным деепричастия *рвя, пекя, стригя, мня, жня* и т. д.» («Известия Отделения русского языка и словесности», 1916/XXI, кн. 1, стр. 334).

*Пиша* (деепричастие) запросто употреблялось едва ли не всеми классиками, да и лингвистами (например, Буслаевым).

Так бы и следовало говорить школьникам: это, мол, дело, выбора: одни советуют избегать таких форм, а другие «на свой слух» считают вполне возможным. Значит, если Л. Толстой и В. Маяковский применяли вышереченные деепричастия, то они отнюдь грамматики русского языка не нарушали.

Читатели, вероятно, помнят, что в своих выступлениях по языку я призывал и литераторов и ученых выполнять (не на словах, а на деле!) ленинский завет о борьбе с ненужной иностранщиной в русском языке. Позволю себе напомнить читателю, в каком имен-

но виде предстояли эти мысли хотя бы в статье «О народности писательского языка» («Нева» № 5 за 1958 год):

«Речь идет не о каком-то безоглядном гонении на все иностранные слова, а о выполнении ленинского завета о борьбе с *засорением* нашего языка *ненужными иностранными словами,* когда легко можно обойтись без них».

Кажется, ясно; кажется, здесь уже невозможно никакое перетолковывание моих взглядов на этот предмет. Напрасные надежды! Подменяя доводы балагурством, П. Пустовойт опять и опять (как, впрочем, все мои возражатели) вытаскивает на свет шутку Белинского о «мокроступах», шутку, уже до испошленности затасканную, или заверяет читателя, что Югов, дескать, воображает, что современный трудовой человек, как и во времена Даля, говорит «таперича» и «делов», и т. д. и т. д.

Заодно приведу уже и другую «разительную» насмешку ученого доцента, которой он думает заменить доказательность:

«Кстати, А. Югов, вероятно, знает, что «эпоха» — слово греческое. Как это он не догадался его заменить каким-нибудь новым словом или сочетанием, например, «времяисчисление» или «длительность бытия»?

И этакое написано о статье, в которой касательно данного предмета мною прямо сказано:

«Известно, что Ломоносов, избегая *излишних* заимствований в иностранных языках, ввел в науку слова и речения...» (следует большой перечень русских терминов, впервые данных Ломоносовым).

*«Однако он же счел нужным оставить: диаметр, квадрат, пропорция... атмосфера... барометр, оптика...* и т. д.

*Это были слова и речения международного, интернационального порядка, идущие почти сплошь от греческих и латинских корней».*

Как же оценить после этого язвительности насчет слова «эпоха»? Разве так спорят представители науки?!

Берите за образец ленинское: *недочеты, пробелы* или *недостатки,* которыми Владимир Ильич считал вполне возможным заменить слово *«дефекты»,* хотя оно и сильно въелось в наш языковый обиход.

Что касается меня, то, право, меня коробит, когда я вижу у историка «абдикация» вместо *отречение.* Недавно читаю: «в духе *традиционалистического национализма»,* — язык заплетается!

*Спутник* и *звездолет* — эти изумительные по своей мыслеемкости, и точности, и красоте русские слова, — пусть будут на нашем знамени, когда мы по-настоящему примемся за выполнение ленинского завета *об очистке русского языка от ненужной иностранщины.*

А время назрело! Иностранные слова льются и льются в русский язык столь страшным потоком, что скоро словарь иностранных слов будет превышать по своему объему словарь русских слов, в особенности если этому поможет встречная рука, оставляющая в русском языке только *восемьдесят пять тысяч слов,* да и то с запретительными и ограничительными пометами чуть не на каждое третье слово!

Бережение народного языка, способствование к развитию всех его *самобытных* сил и возможностей, которые еще не успели воплотиться под пером писателей, поэтов, ученых, — это великая всенародная забота, и здесь поразительное единодушие видим среди классиков и русской литературы и русской науки.

«Я не с точки зрения шовинизма или квасного патриотизма боюсь за язык, — писал Гончаров, — и, конечно, буду рад через десять тысяч лет говорить одним языком со всеми, и если буду писать, то иметь читателями весь земной шар.

Но все же я думаю, все народы должны прийти к этому общему идеалу человеческого конечного здания — через национальность, то есть каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал. А мы кладем это как-то вяло и лениво, да еще упрямимся не говорить по-русски! А другие и подавно не учатся нашему языку, да и не для чего: все говорят у нас на чужих языках».

Языковой космополитизм, насаждавшийся эксплуататорскими классами, враждебными народу, наносил огромный ущерб и развитию русского языка в целом, и языку литературы, и языку науки. И как снова не вспомнить здесь завет Климента Тимирязева, великого ученого и гражданина:

«Наука должна сойти со своего пьедестала и заговорить *языком народа»*.

## 7

Вернемся, однако, к статье из «Вопросов литературы». Это необходимо потому, что в ней дан как бы сгусток воззрений, которые именуются у нас языковым космополитизмом. А чтобы отстаивать у нас такого рода взгляды, приходится, конечно, нарушать и логику и обычаи научных споров, что и делает П. Пустовойт на каждом шагу.

Вот еще пример. У меня в статье «Эпоха и языковой «пятачок» приводится суждение Белинского: «И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать». Кажется, ясно! Это — подлинные слова Белинского. Перетолковать их нельзя. И какое же это возражение — противопоставить этим его словам другие его слова, где он говорит, что... многие иностранные слова хороши и вжились в русский язык и что не надо их вытравлять? Какое же здесь противоречие видит П. Пустовойт? Ведь слова-то, подобные слову «утрировать», надо же все-таки выбрасывать, по мнению Белинского! Одни слова, говорит Белинский, вывелись из употребления, а другие остались: «Гений русского языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить». И это тоже верно! Но ведь необходимо мыслить *исторически.* И можно ли не считаться в нашу эпоху с возможностью непрерывного, каждодневного воздействия на так называемое употребление, на «гений языка», с помощью таких

сверхмощных сил, как печать, радиовещание и телевидение?! И вот беда: в качестве «языковых советников» возле этих сверхмощных рычагов иной раз появляются люди гречевского толка, точь-в-точь те самые «грамматоеды», о которых говорили с таким негодованием Белинский и Добролюбов. По своему вкусу и произволу они диктуют свои словарные (лексические) и произносительные (орфоэпические) нормы. Одно слово они объявляют недостойным хорошего общества — просторечным, «нелитературным», другое соизволяют разрешить.

Здесь не обошлось без курьезов.

Так, например, один из «языковых советников» вещания запретил по радио слова *«учеба»* и *«ихний»*.

Эти «советники» заставили даже одного известного артиста назидательно произносить: «побàсенки», а не «побасёнки». Опросите вы буквально весь русский народ — все скажут «побасёнки». Да и как же иначе? Здесь мы имеем тот же самый суффикс так называемой «субъективной оценки», который в данном случае выражает некий *пренебрежительный* оттенок, а вообще весьма продуктивен: *«шубёнка», «избёнка», «коровёнка», «лошадёнка»*. И в ударении здесь никто не сомневается. Даже и поговорка старинная существует, где этот суффикс *ёнк(а)* в слове *побасёнка* становится несомненным, будучи подчеркнут созвучием: «Хороша *побасёнка* с поросенком!» — то есть хороши побасёнки за сытным обедом.

## 8

П. Пустовойт счел важным доказательством моего тяготения к архаизмам выписку из моего романа «Бессмертие» одного слова «óвидь» вместо «горизонт» и трех слов из исторического романа «Ратоборцы» (XIII век!). Можно бы попросту с горькой усмешкой пройти мимо этого странного выпада: ведь уж и школьники знают нынче, что слово, вырванное из контекста, не принято использовать как доказательство. Надлежит давать по крайней мере целое, осмысленное предложение, и тогда каждый сможет судить,

верен ли художественный расчет писателя. Тов. Пустовойт, смотрите, вот еще один «архаист» — Сергей Есенин. У него есть даже, страшно молвить, наречие «зане», да еще в соседстве с такими словечками, как «богема»!

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
*Зане* созрел во мне поэт
С большой эпическою темой...

И ведь это Есенин последних лет!..

И зачем вас не было, тов. Пустовойт, возле Льва Толстого, чтобы удержать старика от чудовищного архаизма, да еще где? В «Анне Карениной»! В самом деле, вот в начале XII века летописец пишет: «Михалка князя удариша ратнии двема копьи в *стегно»* — и через семьсот лет русский писатель повторяет это слово:

«И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев *стёгна* и голени в узких рейтузах».

Рейтузы и... стёгна!

Может быть, теперь, после этих примеров, дойдет до моего возражателя неуместность его приемов с «цитациями»!

Но уж чтобы покончить раз и навсегда с нерасчетливым гонением на так называемые «архаизмы», я позволю себе также риторический вопрос: как можно проходить мимо изумительных и прямых высказываний Алексея Николаевича Толстого как раз по этому предмету:

«В самом начале Февральской революции я обратился к теме Петра Великого... Историк В. В. Каллаш познакомил меня с архивами и записями Тайной канцелярии («Слово и дело»). *Во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылась тогда передо мной сокровищница русского языка...»*

И в другом месте:

«Я *увидел, почувствовал, — осязал русский язык... я видел во всей чистоте русский язык...* Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но ни-

кто никогда не писал (за исключением гениального «Слова о полку Игореве»)».

Тут, как видите, речь идет не об одном, не о двух каких-либо старинных словах, а о целых пластах древнего русского языка!

Почему всерьез не обсуждают, чего именно хотел от русского литературного языка один из великих его создателей — Лев Толстой, когда он звал писателей учиться языку у *мужиков?* Что это, чудачество гениального писателя? Были и такие объяснения, исходящие обычно от кучки буржуазной «высокой» интеллигенции, от скабичевских. В гимназиях так же вот объясняли на уроках «словесности»: чудачества, мол, гениального старца, пресыщенного высшей культурой. Уж очень страшным казалось, что для Льва Толстого *«гладкий, литературный»* было синонимом *дурного* языка: «Все это написано дурным, то есть гладким, литературным языком, которым пишут фельетоны и повести в плохих журналах».

Скабичевские и саводники отмолчались от «старого» Толстого; они ухитрились его могучий зов к воплощению в литературе народного словаря и речестроя; к взлому и перепахиванию наторенной до лоска гладкой колеи привычного литературного языка свести к неправильностям якобы и «индивидуальным отклонениям» Толстого. «Мало ли что! — говорят они. — Он ведь и на Шекспира нападал! А затем не забывайте, пожалуйста, что это опрощение литературного языка вообще у него было связано с его проповедью, с его омужичиванием. Так что это — не вопросы стилистики».

А речь идет о призывах Льва Толстого к языковой революции в литературе!

Ну хорошо! Отвели одного Толстого, отмолчались от него, который весь является ниспровержением нормативной лексики и старой теории прозы! Но вот перед вами другой Толстой, автор «Петра» и «Хождения по мукам», наш современник, смотрите же, каковы воззрения *этого* Толстого на литературный язык, к чему *этот* зовет:

«Вместе с немецким платьем и французским обы-

чаем в XVIII веке была занесена к нам сложная литературная фраза. Она была условной, галантной и безликой... Все же иностранная фраза привилась. Но народ ее не принял, и замечательно, что *спустя два века народ в России говорил лучше, чем интеллигенция,* чего на Западе нет.

Великие русские писатели *ломали* традиционно-литературную форму, но все же в массе литературы, в обиходе, она оставалась. И вот, видимо, *теперь окончательно разрушается эта давно уже истлевшая, тесная и душная одежда на русской литературной речи,* стало быть — на мышлении, на сознании...»

Так думал другой Толстой! Он во весь голос говорил об этом; говорил не в какие-либо давние времена, а в эпоху Великой Октябрьской революции.

## 9

Пустовойт, Барлас, Цаланчук, обладающие столь превратным представлением о слове, конечно, мыслят стилистику только как нормативную. Писатель, поэт то и дело будет с поклоном спрашивать: «А это можно? Не будет ли стилистической неряшливостью...» Не думайте, что это мои домыслы. Автор статьи в «Вопросах литературы» назидает: «Плохо знают стилистику родного языка и наши школьники и, нечего греха таить, некоторые наши уважаемые писатели и критики. Многочисленные примеры стилистических неряшливостей...» и т. д. и т. д. — цитаты не продолжаю: и так все ясно!

Стало быть, и школьники и *писатели* плохо знают стилистику? Но позвольте, тов. Пустовойт, ведь тут же вы говорите, что стилистики-то, собственно, еще и нет, то есть, точнее, она еще не наука, а *«тонкое, капризное дитя»;* мало этого: оное «дитя» еще и захирелое. «А дитя хиреет без призору и ждет настоящей ласки и внимания», — взываете вы.

С привычной для него алогичностью автор статьи в «Вопросах литературы» тут же, впрочем, резко меняет суждение о стилистике: она уже не рахитичный, запущенный младенец, от которого открещива-

ются две мачехи, а некая могучая сверхнаука, «значения которой в языке и в литературе должны быть такими же, как роль и значение высшей алгебры в математике».

Так что́ же в конце концов: рахитичный, на ладан дышащий младенец, — и тогда за что же тут корить школьников и писателей, что не знакомы они с этим младенцем? Или «высшая алгебра» писателей, — но тогда как же это, не дождавшись, когда вы создадите ее, тов. Пустовойт, Алексею Толстому «посчастливилось» написать «Петра» и «Хождение по мукам», а Шолохову — «Тихий Дон» и «Поднятую целину», Леониду Леонову — «Русский лес»? Ручаюсь, что не дожидались они, когда вы положите им на стол ваше руководство по стилистике или, прибегая к вашей системе метафор, когда подрастет ваш запущенный, захирелый и беспризорный младенец.

В одном из учебников стилистики я встретил утверждение, что задачей этой науки является будто бы изучение изобразительной роли переносных (метафорических) значений в языке. Такое определение показалось мне явной подменой целого частью: механика — это физика, но физика вовсе не сводится только к одной механике.

Да и разве каждый из нас не может припомнить целые отрывки, где никаких метафор, или же она сверкнет лишь редко-редко, а между тем художественность бесспорная?

Вот я приведу сейчас несколько «безметафорных» образчиков. Портретное: «Излыса-кудреватый, небольшого роста мужчина». Или: «Худощавый старик, с кривым лицом, в берете набекрень». «Плаксиво-вкрадчивый голос». «Дородная и красивая». А вот описание осени: «После мороза лес пошел быстро оголяться: тронулась липа, осина; еще мороз — пошла и береза. Лист так и летит. С каждым днем в рощах делается все светлее и светлее. Опавший лист шумит под ногами. Летние птицы отлетели, зим-

ние сбились в стаи. Заяц начал белеть. Около дома появились первые зимние гостьи — синички... С полей давно уже убрались. Лошадям приволье — бродят неспутанные, где хотят».

Всякая наука должна прежде всего иметь свое собственное определение, осознать свой круг предметов, свою цель. А этого нет! Разнобой определений, Путаница и разноречие!

Возьмем, кажется, единственный у нас университетский учебник стилистики А. И. Ефимова — «Стилистика художественной речи». Учащийся немало почерпнет здесь хотя бы из огромного обзора суждений великих писателей о русском языке и о писательском искусстве. Но вот что бросается в глаза: все, решительно все приведенные из классиков выдержки толкают к выводам о высоком значении просторечия, о свободе писателя в выборе языковых средств, но автор учебника как-то ухитряется делать иные выводы, загипнотизированный «заветами» нормативной лексикографии. В конечном счете с грустью видишь сведение стилистики опять к разрядам слов, разбитых на всевозможные «измы»: архаизмы, славянизмы, профессионализмы и т. д. И, конечно, автор учебника счел нужным осудить «просторечие». А между тем не смог даже определить, что это такое. Ибо разве это определение: «Под просторечием разумеются весьма разнообразные речевые средства, остающиеся *за пределами литературного языка»?* (Курсив мой. — *А. Ю.)* Но ведь это же не раскрытие сущности: сегодня — за пределами, а завтра — в пределах! Ведь и сам автор вспоминает слова В. Гюго: «Язык колеблется от царственного шествия великих писателей». Надо ли доказывать, что после Карамзина, Пушкина, Крылова, Л. Н. Толстого и Маяковского пределы литературного языка становились всякий раз не те? Но что же все-таки есть «просторечие»? По существу ответа нет. А вот, по академику В. В. Виноградову, просторечие — это «собирательное имя фамильярных

стилей национально-бытовой речи». Однако трудно согласиться с В. В. Виноградовым, что в «Станционном смотрителе» Пушкин, заменив «кто с ними *не бранился»* на более точное, многократное «кто с ними *не бранивался»,* предпочел будто бы просторечное, «фамильярное» обезличенному, «нейтральному». Нет, просто в духе языка Пушкин избрал *более точное,* ибо здесь речь идет именно о многократности, повторности, длительности: «не бранивался».

Противоречат между собою в учебнике стилистики А. И. Ефимова определения самой науки. Например: «Под стилистикой принято понимать науку о стилях языка и закономерностях употребления в них различных речевых средств», — сказано на странице шестой. Но в дальнейшем задачей стилистики будет объявлено (почему — неизвестно) уже изучение *метафор* («переносных значений»): «Задачей стилистики художественной речи является изучение изобразительной роли переносных значений в языке писателей...» Вовсе нет! И это извечная ошибка теоретиков, происходящая оттого, что не найдены *атрибуты* художественности слова и предложения. А они есть, снова повторю: это мыслеемкость, точность и вещественность слова. А метафора совсем не обязательна. Сколь угодно можно представить образчиков высокохудожественной прозы, где метафора лишь редко-редко блеснет кое-где. Тем более странно связывать с метафорою сàмое определение стилистики.

Не лучше ли будет определить стилистику так: часть поэтики, имеющая предметом слово и предложение в их изобразительной (художественной) функции?

Как бы то ни было, стилистика быстро может превратиться в «пиитику» былых времен, если пойдет по пути запретительства.

Учение об изобразительных силах слова и предложения — стилистика, представляя собою, быть может, завершение грамматики, ее венец, как считал Белинский, должна исследовать не

только опыт художников слова, но и *живую действительность языка*. При этом не только само по себе слово, словарь народа, но на данном этапе — прежде всего *синтаксис* устной народной речи, включая и синтаксис устной народной словесности, — вот поистине глубинно неисчерпаемый и, по существу, новый для стилистики предмет исследования.

Надо же, наконец, признать, что даже Лев Толстой — и тот зачерпнул лишь один исполинский ковш из этой неиссякаемой, хрустально-чистой криницы — народного речестроя. Еще ждет этот народный речестрой и великих грамматистов и великих писателей!

## АРХАИЗМЫ В ПОЭТИКЕ МАЯКОВСКОГО

### 1

ЕЩЕ Ломоносов, основоположник русской литературной речи, вел упорную борьбу против языковой интервенции, против попыток заковать беспредельно растущий язык русского народа в кандалы немецкой грамматики и риторики. Ломоносов писал: «Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлений мыслей много между собою разнствуют. И для того береги свойства собственного своего языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в русском». Беречь свойства собственного своего языка — этот завет действителен на все времена. Но что подразумевать под своим родным языком? Неужели только *литературный,* то есть, если вдуматься в примелькавшееся понятие, *успевший вокнижиться* язык? Но разве этот *вокнижившийся* язык мог исчерпать *всю* мощь и все потенции беспредельного языкового океана, вечно живого и самосозидающегося? Конечно, нет.

Советские писатели, дабы стать достойными носителями этого высокого звания, должны строить новое. Строительный материал наш — вокнижившееся слово. Но разве можно забыть, откуда, через самозабвенный, в подлинном смысле, научный труд, добываем мы это слово, эту «словесную руду»?

Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в. год труды.
Изводишь,
единого слова ради,
тысячи тонн
словесной руды.

Каждый из писателей, вероятно, заметил в критических статьях недавних лет (особенно об исторических романах) выпады против «архаизмов» и «просторечия». Причем *термины эти не уточнены.* И в этом последнем обстоятельстве — главное зло.

Я же оговорюсь, что буду применять термин «архаизм» в таком толковании: архаизм — это слово или речение, которое уже давным-давно вышло из речевого обихода или не имеет предметного себе соответствия в современной жизни. Лоно, твердь, палица — суть архаизмы.

Термин «просторечие», «областное просторечие», когда-то широко принятый, применен мною в буслаевском понимании. Ф. И. Буслаев, когда писал «областное просторечие», разумел не узко локальное, диалектологическое, вятское или балахонское, как говаривал Горький, но, попросту говоря, *живой народный язык.*

## 2

Величие и мощь русского языка, его всеотзывность, всепроникновенность, неисчерпаемая многовидность и разнозвучность воспеты Ломоносовым в его бессмертном дифирамбе, заучиваемом наизусть в наших школах:

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятельми, итальянским с женским полом говорить прилично. Но естьли бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков...»

## 3

При попытке использовать в качестве точных понятий такие выражения, как «модернизация», «ар-

хаизация», то и дело наталкиваешься на неожиданности. Так, слово «отоварить» — отнюдь не словотворчество снабженцев. Оно встречается еще в Никоновской летописи (1, стр. 50): «богат сый житницами, отоваренными...»

Иной редактор обязательно вычеркнет, если князь XIII века спросит:

— А что у нас сегодня *к завтраку?*

Так-де в XIII веке не говорили. Нет, говорили. И даже в XII. В «Слове о полку Игореве»:

«Избивая гуси и лебеди завтроку, обеду и ужине».

«Двурушник», если вдуматься, — седой архаизм: «держать чью-либо руку» — означало быть чьим-либо сторонником. И тот, кто переметывался то на ту, то на эту сторону («руку»), был двурушник.

Один рецензент настаивал, чтобы слово «расстреляем» было выброшено из исторического романа: в XII, XIII веках в древней Руси так-де не говорили, недопустимая, мол, модернизация! Автору пришлось сослаться, во-первых, на разговор Кончака и Гзы в «Слове о полку Игореве»:

«— Аще сокол к гнезду летит, соколича *расстреляеве* своими злачеными стрелами!» Затем, из Лаврентьевской летописи, под 1097 годом: «А заутра по зори повесиша Василия и Лазаря и *расстреляша стрелами* Василковича».

Толща языка, его главное русло до последних десятилетий изменялось неторопливо, как Волга. Это азбучная истина, что и сейчас в Архангельской, Вологодской, Костромской и других областях, кое-где в Сибири уцелели гнездовья живого языка, восходящего к XIV, XV векам.

*Бани* упоминаются еще у Нестора. Утварь крестьянского обихода — *сковорода, кадь* и т. д.; *плуг, соха, лошадь* и тому подобные слова встречаются еще в памятниках XI века.

Что есть архаизм, а что не архаизм? Где научное мерило? Говорят: архаизмы — это то, что безнадежно обветшало, забылось, вышло из употребления.

Но разве слово «надолбы» для широкой публики не было мертвым словом, пока его, пронесенное через

толщу веков в профессиональном языке, не вернула в литературный язык война? Москвичам и суздальцам надолбы понадобились еще семьсот лет назад: в Новгородской 1-й летописи, под 1238 годом, сказано: «и оступиша их татарове у Коломны, и бишася крепко, и прогониша их к *надолбам»*.

А вот в Никоновской, под 1541 годом: «Князь великий... велел пушки и пищали по местам ставити... и у посаду по *улицам надолбы делати»*.

Правда, эти надолбы ставились против конницы, а не против танков. И в этом лишь разница.

Наши центральные газеты безбоязненно воскрешают тысячи уже угасших слов, и этим они борются против обмеления языка.

Зачастую воскресшие слова — несомненные архаизмы — звучат, однако, как неологизмы. Иногда же они и звучат явно стариной, однако стариной мужественной и прекрасной.

*Зарубежный, благоприятствует, злодеяния, смута, возглавил, здравица, крепчайшие узы, повергнуть во прах* и т. д. и т. д. — все эти слова с архаическим налетом снова благодаря газете вошли в сокровищницу литературного языка. Просмотрите наши газеты, и вы наберете тысячи воскресших слов.

Архаизмы нашего языка — одни относятся к древнерусскому языку, другие — к церковнославянскому. Но почти как правило: если критик бранит кого-либо за архаизмы и просторечие, то отрицательными примерами у него служат именно древнерусские слова, которые всегда почти совпадают с областными, с теми, что по старой языковедческой терминологии обозначались как «просторечие».

Церковнославянизмы же обычно порицают *вообще*, не приводя примеров. И это оттого, что критик перестал отличать в своей собственной речи эти самые церковнославянизмы. Он к ним слишком привык. Даже в трамвае он то и дело безотчетно употребляет их: «Гражданин!.. Здравствуйте!» Значительную часть нашего живого языка придется выкинуть, если поднять гонение на церковнославянщину: *глава, заглавие, главный; единение, единогласно, соглашение,*

*враг, влага, древесный, зрелище, зритель, благоразумие, блаженство, благородство, ограда, окно, предначертание, самоотвержение, среда, превращение, сведущий, учреждение* и т. д. и т. п. *.

В заключение этой главы вновь сошлемся на Буслаева, дабы явной стала глубокая закономерность того, что у наших писателей тяготение к древнерусским словам и речениям сливается с тяготением к живому народному, еще не вокнижившемуся языку.

Ф. И. Буслаев пишет, что древнерусский язык отличается: «1. Точностью. 2. Изобразительностью. 3. Полнотой».

Недаром такие смелые заимствования делал из него Гоголь.

Относительно же связи нынешнего *областного* языка *с древнерусским* Буслаев говорит: *в* «*нынешнем просторечии* сохранилось древнейших и *существенных* свойств русского языка больше, нежели в современной образованной речи» (1, 20). «И существенных», — не случайно подчеркивает Буслаев.

## 4

Архаизмы как средство поэтики широко применял поэт, в отношении которого это как-то не принято

---

* Кроме того, надо иметь в виду, что вопрос о роли и месте церковнославянизмов очень сложен. Многие слова церковнославянского происхождения давно уже органически вошли в русский язык, ассимилировались в нем и теперь в живом словоупотреблении уже не ощущаются как инородный элемент. Другие церковнославянизмы существуют в русском литературном языке наряду с соответствующими русскими словами и выполняют при этом определенную стилистическую функцию — придание возвышенности, торжественности речи. Это понимал еще Ломоносов, утверждая (в ограниченных размерах) законность употребления понятных русскому человеку церковнославянизмов в плане «высокого штиля». Прекрасно, с тонким чутьем языка использовал стилистические возможности церковнославянизмов Пушкин. Вспомним хотя бы «Пророка» и «Памятник».

Есть, наконец, церковнославянизмы, или бесконечно устаревшие (их отмечал также Ломоносов), или тесно связанные с церковной обрядностью и христианской мифологией. Они были и остаются глубоко чуждыми полнокровному живому русскому языку.

было полагать, — Владимир Маяковский. Особенно он любил это делать в преднамеренной сшибке с так называемыми вульгаризмами и варваризмами.

Маяковский с глубоким знанием дела, мастерски объединил и древнерусский и церковнославянский языки с языком современным — как литературным, так и «просторечием».

Очень примечательно, что Владимир Маяковский словотворствовал и порою рвал современную ему *школьную* этимологию и синтаксис в *глубоком согласии с законами языка*, и *опыты его грамматикой исторической оправданы*.

Ныне Маяковский — в хрестоматиях по русской литературе. Однако нам кажется, Маяковского все еще ставят вне исторической преемственности, вне традиций великой русской литературы.

Человек глубокой языковой и вообще художественной эрудиции, несомненно изучавший древнерусские памятники и напоенный живым народным словом, Маяковский словотворил, новаторствовал, многое ломал; однако все, что он сделал, находится в полном согласии с законами языка. Его словотворчество вступало иногда в конфликт с школьными правилами, но не с законами языка. Чтобы увидеть эту согласованность, временами приходится обращаться не только к древнему нашему словарю, но к древнему синтаксису.

Воссоединяя просто и дерзновенно и древнерусское, и церковнославянское, и областное, Маяковский подлинно — океан языка. Для Маяковского несомненной была истина, что древнерусское и областное («простонародное») почти всегда совпадают.

Он не брезговал, конечно, и *варваризмами*, которые *вработались* в русский язык, но он так бесцеремонно обрабатывал их с помощью суффиксов и флексий, что они в его поэтической армии оказывались послушнейшими из «бойцов».

Маяковский в своей лексике и словообразовании дает дерзновенные, ошеломляющие, подчас — чудо-

вищные, но всегда выполняющие задачу, сочетания архаизмов, вульгаризмов и варваризмов.

Но так как последние два разряда слов неоднократно отмечались в его поэтике, а приверженность Маяковского к архаизмам не была предметом внимания, то обсуждением этой стороны в его поэтике и займемся.

Очень ценно, что Маяковский близок Пушкину в своем смелом отношении к словарю. И для того и для другого не было отверженных слов.

Для Маяковского было только одно «клеймо» на слове: это — его затертость.

> Гримируют городу Круппы и Круппики
> грозящих бровей морщь,
> а во рту
> умерших слов разлагаются *трупики*,
> только два живут жирея —
> «сволочь»
> и еще какое-то,
> кажется — «борщ».

Даже и нарочная грубость словаря показывает гневно-презрительное отношение Маяковского к «расслабленному интеллигентскому язычишке». У Маяковского, повторяю, было пушкинское отношение к языку.

Буслаев в своем «Опыте исторической грамматики русского языка» пишет:

«Пушкин дал пример обогащать современную речь *всеми сокровищами родного слова, где бы они ни были,* в церковнославянских книгах, и в древнерусских памятниках, и в просторечии» («Опыт», 1, стр. 21).

Маяковский любил архаизмы и великолепно работал ими. Это отнюдь не мешало ему быть яростным словотворцем.

Существует мнение, будто бы Маяковский пользовался архаизмами лишь в пародийном плане. Это неверно. Напротив, количество явных архаизмов сильно уменьшается у него, если идти от поэм с гро-

мадным лирико-трагедийным напряжением к произведениям чисто сатирического порядка.

Вспомните, к примеру:

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается *клирос!*

(«Облако в штанах»)

Или:

Я,
*Златоустейший*.

(там же)

Или:

Это *взвело на Голгофы* аудитории
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
*«Распни,*
*распни* его!»

(там же)

Какая же здесь «пародийность»?!

Архаической — и даже библейской — речью пытается Маяковский говорить и о своем предчувствии революции:

в терновом венце революций
*грядет* шестнадцатый год.

А я у вас — его *предтеча,*
я — где боль, везде,
на каждой капле слёзовой течи
*распял* себя на кресте...

(там же)

Речь идет не о том, в каком плане — трагедийном или пародийном — использовал Маяковский архаизмы, а о том, что *древнерусский* и *вообще архаичный словарь был послушным инструментом* у *Маяковского.*

**5**

В то же время Маяковский вполне определенно понимал, что употребление архаичных слов сбли-

жает язык с так называемым *областным* * просторечием.

В дни первой мировой войны Маяковский предъявил два требования к русским писателям.

Первое требование — словотворчество, поиски в области сравнений и определений.

«Второе, — цитирую Маяковского, — сделать язык русским. Конечно, это не имеет ничего общего с желанием называть калоши мокроступами, потому что делается это не произвольно, а сообразно общим законам рождения слов... Русский язык — второе требование жизни».

Маяковский писал:

«Пересмотр арсенала старых слов и словотворчество — вот военные задачи поэтов».

Эта цитата доказывает *сознательное и научное* словотворчество Маяковского.

Что же касается «старых слов», то ведь Маяковский говорит «арсенал» (а не архив), то есть он призывает поискать среди них *оружие*, пригодное и в наши дни.

Иного смысла нельзя придать этому выражению: «Пересмотр арсенала старых слов».

Каждому ясно, что Маяковский не боялся «огрубления» литературного языка. Быть может, иногда в поэтической ярости он впадал и в крайность. Но все же огрубленье огрубленью рознь!

В практическом же смысле борьба идет между теми, кто считает, что в работу надо стремиться впрячь всю мощь языкового океана, что в этом океане для художника перегородки веков и областей более воображаемы, чем реальны, — и между теми,

---

* Кстати, о шаткости понятия «областное». Если в «Толковом словаре живого великорусского языка» под каким-либо словом стоит пометка «донское», «орловское», то считать ли его, при таком пространственном распространении, областным? Не имеет ли право писатель, при надобности, возвести его в ранг литературного слова? Или, например, стоит под словом такая широкая пометка: «западное, южное, псковское, тверское» — да ведь это же вся Россия! Какие же основания и далее прозябать этому слову в разряде «просторечия», «худого и простонародного языка»?!

с другой стороны, кто всерьез поверил, что «меридианы на части режут наши страны», кто довольствуется огрызками языка и стремится объявить литературным языком только тот свой «расслабленный интеллигентский язычишко», для усвоения коего лично у него хватило охоты и времени.

В этот спор давно внесена была ясность А. М. Горьким; он высоко ценил богатство народного языка, но при этом всегда подчеркивал основное в работе литераторов, которые «из стихийного потока речевого бытового языка произвели строжайший отбор наиболее точных, метких и наиболее осмысленных слов». Однако ведь работа этого отбора далеко не закончена. Осталось же что-нибудь и на нашу долю!

Маяковский страстно, благоговейно любил язык своего народа. И его страсть к просторечию вызвана желаньем, чтобы стихия народного и древнерусского возобладала в литературном языке над его другими составными элементами, а также над иностранщиной (если она вовлекается без надобности).

«На вчерашней странице стояло Петербург, — писал он. — Со слова Петроград перевернута новая страница русской поэзии и литературы».

Маяковский не ломал и не коверкал русский язык! Язык родного народа был для него уже и одним тем краше и выше остальных, что это был язык Ленина!

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им,
разговаривал Ленин.

6

С яростью и негодованием обрушивается Маяковский на сторонников «расслабленного интеллигентского язычишки».

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать...

Маяковский предреволюционных лет, чуя (он ценил это древнерусское, а ныне украинское и областное слово — *чуять*), — чуя, как близок уже «главою голодных орд» год революции, бросал клич свой площадям и «уличным тыщам»:

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложеньем
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории...

Из древней нашей литературы, пробивая толщу веков, «через горы времени», как сказал бы Маяковский, звучит недосягаемо и прекрасно, грозно и мужественно «Слово о полку Игореве».

Немного ниже я приведу некоторые примеры влияния «Слова о полку Игореве» на Маяковского.

А здесь укажу, что *перебивка поэмы лирико-патетическими возгласами, глубокие заходы в прошлое* и, наконец, *апофеоз конца, пришедший на смену чрезвычайно мрачным картинам, — все это роднит* «Слово о полку Игореве» и «Войну и мир» Маяковского.

Это должен будет отметить каждый, прочтя то и

другое подряд, непременно вслух, и сопоставляя как ритм, так и композицию.

Я думаю, что не Уитмен, а «Слово о полку Игореве» было образцом для больших лирико-эпических симфоний Маяковского.

## 7

Поэтика Маяковского, даже при беглом сопоставлении, обнаруживает много словарного и синтаксического сходства с поэтикой древней Руси.

Любопытно, что первоначальным названием «150 000 000» было «Иван Былина. Эпос революции». (см. П. с. с., т. II, 1956 г., Примечания, стр. 504).

Для доказательства применим простой и выгодный, хотя, быть может, и монотонный, способ сопоставления.

В первую очередь мы рассмотрим здесь в сопоставлении: словарь (лексику) Маяковского, *словообразование* и, наконец, *словоуправление* (синтаксис).

Вот словарик, выписанный при самом беглом просмотре из поэм Маяковского: «Тринадцатый апостол» («Облако в штанах»), «Война и мир», «Флейта-позвоночник» и «Человек».

Архаичность этих слов прямо чувствуется каждым. Читатель, продолжив эту работу, легко сам может из двенадцати томов Полного собрания извлечь тысячи древнерусских и древнецерковнославянских слов. А процентный подсчет, несомненно, еще больше покажет, что Маяковский умел превращать архаизмы в мощные языковые средства.

Словарь: *Вспять*, *днесь* («голос подъемлю *днесь*»), *глашатай*, «мертвые *сраму не имут*», «уличных *блудилищ*», *дивеса* (от диво), *вертеп*, *осенять*, *разверстые жерла*, *чело* (чело земли: «морщины окопов легли на *чело*» — и чело любимой женщины), *благоухает*, *огневержец*, *дланями*, *уста*, *златоустейший*, *терновый венец*, *долы*, *плаха* («как с *плахи* голова казненного»), *клирос*, «смелостью смерть *поправ*» (о Наполеоне), «хлеб наш насущный *даждь* нам *днесь*»,

*«око за око!», очи, распятья, «и тверди* и воды», «небесные *тверди»*, идол («подножию *идола»), искупительная* (драма), *причастие, шествие, чающий, ковчег, отпуститель, сошествие, пятилучие, «охоты сокол», иго, осанна, пророки, воздвигся, разверзлась, ризы, утло, лоно, веча звонница*, «мировое *вече», «да не будет»* и т. д. и т. д.

В стихах злободневных, сатирических и в агитпоэмах количество несомненных архаизмов резко снижается. Обычно в этих случаях они работают пародийно. Однако далеко не всегда.

Здесь встречаем: *воздали даки, славословие, «почетнейшие лики»*, «Крыма *скалоликого», облекаться, «не тщась взлететь», «презрев времена», «красных рать»*, «белый *плат», содружие, венец, мощи, челядь*, «сила наша *исполинска», троица, волхвы, «венец* победный», *«под кровли хижин», казнокрад, возносит*, «взмахнул я *палицей»*, «не страшны никакие *узы», преисподняя* и т. д.

От приведенных слов веет архаистикой, но они для каждого понятны, так что едва ли потребуется справка из словарей. Вообще же говоря, большинство наших слов древни. Однако для того, чтобы именоваться архаизмами, они должны уже выйти из бытового употребления и иметь некий налет старины (а суждение об этом налете — дело более чутья, вкуса и языковой практики, чем какого-либо научного критерия).

«Лопата» не архаизм, хотя и встречается в древнейших русских памятниках (XI века, Григорий Назиянин). Но «твердь», «око», «лоно», «рать», «чающий» (от чаяти — надеяться, ожидать), «утлый» и тому подобные слова — это несомненные архаизмы.

Газета то и дело воскрешает древние слова и целые речения: ратный подвиг, самоотверженье, вече, предначертанье, рубеж, зарубежный, надолбы, упреждать, широковещание, супряги, супруга, водрузить, провозгласить здравицу, осенять, вдохновлять, творец, поле брани, держава, священный — и многие другие.

Посмотрим, в каких древнерусских памятниках, какого века встречаем архаизмы, которыми пользуется Маяковский.

«Мертвые сраму не имут!» — это речение из поэмы Маяковского «Война и мир» — есть не что иное, как воззвание князя Святослава к русским воинам перед битвой 971 года: «мертвый бо сорома не имаеть» (Ипатьевская летопись). Любопытно, что «сором» — это русское, а «срам» — церковнославянское слово.

«Око» находим еще в Остромировом евангелии (XI век): «Око твое лукаво есть». Мтф, XX, 15.

«Предтеча» — у Григория Назиянина (перевод, XI век): «Предтеча бе великого света».

«Осенять» (осеняти) — Остромирово евангелие (XI век).

«Лоно» — «На лоне безумных почиваеть». XI в., Пандект Антиоха; «...и от лона Авраама...» — Григ. Наз., XI в.

«Твердь» — «разделишася воды, пол их взъиде на твердь, пол их под твердь» — Ипатьевская летопись 986 года. Беседа византийского философа с князем Владимиром.

Кстати, у Маяковского встречается: «и тверди и воды».

«Уста» — «отверьз уста еи» — Остромирово евангелие, XI век; «паче меда устам моим» — Даниил Заточник, XII в.; «От избытка бо сердцу уста глаголють» — Остромирово евангелие.

«Чаяти» — ожидать: «...чающих движение воды» — Остромирово евангелие и т. д. и т. д.

Архаизмы, употребляемые Маяковским, почти все могут быть найдены в литературных памятниках древней Руси XI—XIII веков.

Но разве от этого язык Маяковского стал хуже, слабее? Разве его служение революции стало менее действенным от избытка архаизмов в поэтическом словаре?!

Маяковского не отпугивала и тысячелетняя дав-

ность русского слова, если в «арсенале старых слов» оно не истлело, не покрылось ржавчиною и могло быть оружием в боях за социализм.

## 9

Однако одна лишь голая лексика, даже и при столь разительном совпадении с древнерусской, не может еще служить основанием для того, чтобы утверждать близость поэтики Маяковского с поэтикой древней Руси.

Коснемся приемов *словообразования* у Маяковского, опять-таки сопоставляя с древнерусским словообразованием.

Среди отличительных, существенных свойств литературного древнерусского (а также и народного, областного) языка Ф. И. Буслаев называет чрезвычайную простоту и легкость образования сравнительной степени от существительных и прилагательных относительных.

Такие словообразования, как *скот — скотее; берег — бережее — бережистее,* были свойственны древнерусскому языку.

Эти формы в современной литературе не встречаются и звучат для нас весьма непривычно.

Между тем у Маяковского:

«чем дальше — тем *ночнее»;*

«любовь к тебе расцветает *романнее и романнее.*

Даже и чужестранное существительное «роман» использовано для образования прилагательного в сравнительной степени по закону древнерусского (и областного) словообразования.

С помощью суффикса «ист» от существительного «Нью-Йорк» Маяковский образует «Нью-йоркистей», а от существительного «шпора» — «шпористей».

«Вильгельмов сапог Николаева *шпористей».*

## 10

Древнерусский язык (и уж, конечно, как всегда, областной) особенно богат существительными увеличительными, образованными с помощью суффиксов

*ищ, ущ, ющ,* а затем — и уменьшительными, ласкательными, уничижительными.

Цитирую «Опыт исторической грамматики русского языка» Буслаева:

«1. Церковнославянский язык употребляет более формы уменьшительные и ласкательные, нежели увеличительные и уничижительные. 2. *Древнерусский язык и областное просторечие всеми этими формами замечательно обильны.* 3. Что же касается до речи книжной, то она, приближаясь к складу церковнославянского языка, весьма ограничила употребление этих форм...» (то есть увеличительных и уничижительных).

Увеличительные формы имен существительных из древних и старинных памятников — на уме у каждого: *старчище пилигримище, идолище* поганое, гость *Терентьище, кинжалище* булатное, *каличище Иванище* и т. д. и т. д. (см. «Былины»).

Общеизвестный гиперболизм Маяковского — как ярчайшая примета его поэтики — нашел в этом свойстве древнерусского языка возможность подлинного художественного размаха.

Вот образцы образования Маяковским увеличительных представлений имен существительных:

«Вавилонищ», головища, землища, ручища, ручьища (множ. число от «ручей»), звоночище, словоблудьище, голосища, «диадемищами», сапожища, божище, мои глазища, «шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил», кровищу, Колчачище, «плетищи царевых манифестов», дымище, хвостище, усища, «рассвет лучища выкатил», «адище, голодище, коридорище...»

Примеры с легкостью можно увеличить. Нет в русском языке существительного — пусть даже оно будет с иностранного! — к которому Маяковский, в случае надобности, не пристроил бы увеличительный суффикс.

Прибавим к этому, что и другая особенность древнерусского литературного и нынешнего областного языка — обилие уменьшительных, уничижительных, ласкательных — так же сильно выражена в поэтике Маяковского.

Еще раз об этой особенности — из «Опыта исторической грамматики»: «В старинном языке, удержавшем на себе сильнее нынешнего книжного следы разговорного начала, отношение говорящих между собою и к предмету речи весьма выразительно обозначились именами уменьшительными или увеличительными, ласкательными или уничижительными.

Например, в Лаврентьевской летописи—*«местьце* мало», «поставиша *церковьцю* малу», *словца...»,* в Юрид. актах — *Семенец* (Семен), 1529; *поместейца, крестьянинец,* 1611; *Иринка, Ириньица,* с *Марьицею,* 1694 и проч.

«Бог волен да и ты своею отчиною и с нами *людишками* своими», Псковск. летопись; «нам бедным погорелым *людишкам* впредь дати льготье», 1640; в Юрид. актах: *«корешишко* (от корень, ср. у Маяковского: язычишко), де имянуетца девятины, от сердечные скорби держат, а *травишко* де держат от гнетишные скорби».

Буслаев мог бы поистине Маяковским воспользоваться, чтобы привести примеры этого древнерусского словообразования! Подобно древнерусскому и областному, Маяковский с легкостью образует от одушевленных или неодушевленных имен существительных, — ему все равно! — все разновидности и уменьшительных представлений.

Ни у кого другого не найти столько уменьшительных, ласкательных, уничижительных.

Слово *любовь* у Маяковского — не только *любовь,* но и — *любовишка, любвишка, любеночек.*

*Поцелуй* дает у Маяковского *поцелуишко, луч — лученышки, Вавилон* — не только *Вавилонище,* но и *Вавилончик;* «У церковки сердца»; даже фабрикант пушек Крупп есть у Маяковского в форме *Круппик, труп — трупик* («умерших слов разлагаются трупики»); «не хватает какого-то сложка, звучика», *транспорты* и *транспорточки, божик* (крохотный) наряду с *божище; статьишка, язычишко,* миллионами *кровинок, Евочек, мненьице, лонце* (от *лоно), жизнишка, мыслишка, жонка, одежонка, лбенки* («мыслишки звякают лбенками медненькими»); *гражданинчик,*

*рифмишки, пенснишки, пожарчик, коленце, сенцо, землица, облачишко* и т. д. и т. д.

Слово «медненький» открывает перечень уменьшительных, которые Маяковский производит от имени прилагательного:

Голодненькие, потненькие, покорненькие, «закисшие в блохастом грязненьке...»; «в целехоньких висках», «место спокойненькое, тихонькое»; «я — блаженненький», жаленький, голенький, «желтенькое сердечко», «желтенький ум», «серенькая», «говор скрытненький», «в бритенькие губы», тупенько («выхмурясь тупенько») и т. д. и т. д.

Чтобы закончить свой беглый обзор суффиксов, которыми столь охотно пользуется Маяковский в духе древнерусского (и областного) языка, коснемся окончания «стый».

В одном из литературных памятников XII века сказано: «увидех жену ротасту, устасту, челюстасту».

О таких окончаниях Буслаев говорит, что относительно приставок и окончаний древний язык отличается точностью и пониманием значения приставок и окончаний...

«Так, например, — продолжает он, — теперь нужно уже объяснить, чем различаются между собою окончания *тый* и *стый,* сказав, что первое, собственно, означает принадлежность, а второе — избыток, превосходство; например: рог-а-тый — значит с рогами, а рог-а-стый — с большими рогами. В старину не только ясно понимались эти окончания, но и легко прилагались к корням слов для выражения точнейшего понятия. Так, например, от слова «берег» с окончанием *-стый* в старину возможно было прилагательное бережистый, бережистая: например, о реке, текущей в крутых берегах (Ипат. лет., 123)».

Кому-кому, а уж Маяковскому не пришлось бы объяснять, чем различаются между собою окончания *тый* и *стый*, настолько точно понимал он, какое значенье придается этим *стый*, и до такой степени привык пользоваться этой формой прилагательных: гербастый, серпастый, молоткастый (советский паспорт); клювастый орел; мозг лобастого (неоднократ-

но); усастая няня П. Н. Милюков; глазастый; в блохастом грязненьке; кудластый, крыластые и т. д. и т. д.

Блюстителям «литературных норм» эти «астые», конечно, рвут «ушко». Но Маяковский нередко даже заострял сии окончания посредством рифмовки.

11

В литературе древней Руси, а также и в областном языке чрезвычайно обильны собирательные, имеющие окончание *ье (ие)*.

«Просторечье, — говорит Буслаев, — свободнее образованного языка производит собирательные на -ье. Например, областные: кожье, кустовье, кусье, лычье, святье (святки). ...Древнерусский язык пользуется окончанием *ье (ие)* в именах, сложенных с приставкою: например, без-местье, за-морье, за-псковье, на-вечерье, не-любье... по-морье, по-сулье, под-атаманье... роз-мирье... Пушкин употреблял таким же образом составленное слово «первосоние» («в неясных видениях первосония»).

У Маяковского много таких именно речений — собирательных на *ье,* подчас весьма резко и непривычно звучащих: «стеганье одеялово», людье, солнцеглазье, многопудье (бронзы), дубье, тараканье, тысячесилье (воль), многолюдье, звездное репье, ребятье, пироженье (нажравшись пироженьем) и т. п.

12

Древнерусский язык дает нам образцы бесстрашного образования прилагательных относительных (притяжательных), отвечающих на вопрос «чей». Так, даже от местоимений — *тот, оный, чей, сей* — с дерзкой простотой образовывалось: *тогов, оногов, чьегов, сегов*. От слова *убежие (убежище)* очень просто образовывалось относительное *убежий.*

У Маяковского — древнерусская простота и дерзостность словообразования прилагательных, отвечающих на вопрос «чей?». Например: *коммунизмовы затоны, капиталовой трубой, Вандервельдичья, вещины (губы)* — от существительного *вещь, Муссоли-*

*ний, Керзоньи бредни, шагом саженьим, бочкин, чахоткины, скат Апеннинии, лики вышибальи* и т. д.

А мы до сих пор жмемся и не узаконили древнерусское и общенародное *ихний, ихный!* И, испытывая неловкость, неудобство, все же говорим: «их».

Грамматисты утверждают, что дозволены с суффиксом *ин* только относительные от имен, имеющих значение лица: *Катин, мамин.* Но народ в своей языковой работе давно опроверг это, свидетельством тому наши фамилии: Бедин, Звездин, Победин, образованные от предметов или понятий, а не от людей. «Молниина стрела», — сказано в «Повести о взятии Рязани» о Батые.

## 13

Еще одна замечательная черта в словообразовании роднит Маяковского с древнерусским языком: это перестановка, переверт звуков, слогов. Особенно часто переставляются плавные «р» и «л».

«Опыт исторической грамматики» дает следующие примеры: *алк-ать, алчный, лак-омый, лачный* (при глаголе *лакать); длань*, областное — *долонь*, откуда с перестановкою — *ладонь;* слово *сыворотка* образовалось от формы *сыроватка.* В областном словообразовании также употребительна перестановка звуков: например, *ведмедь* вместо *медведь; девнесь* и *день весь; лопено* вместо *полено* и многое другое («Опыт», 1, стр. 81).

Одно время Маяковский развивал в особых экспериментах эту особенность древнерусского и областного языка.

Вот пример из Маяковского со словом «раб», которое, переворачиваясь, дает «бар».

...баров и бань...
Были рабы!
Нет раба!
(«150 000 000»)

Или:

У-
лица.

Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез...

Здесь — «слова-оборотни»: *улица* и *лица* у; *дог* и *год; резче* и *через.*

Здесь не только лабораторный эксперимент. Здесь, кстати сказать, использована еще и перестановка слогов:

ар-ба-ба-ра-бан.

Я уверен, что можно привести очень много примеров слоговой перестановки в стихах Маяковского. Вот еще пример:

Идут,
железом
*клацая* и *лацкая...*

Минуя лабораторные эксперименты Маяковского, подчеркну общеизвестную истину: в словотворчестве поэта удерживается народом лишь то, что сотворено по законам языка.

Словотворчество Маяковского оказалось стойким. Оно пошло в будущее!

**14**

Коснемся глагола у Маяковского опять-таки в сравненье с древнерусским языком и так называемым «просторечием».

«В отношении к видам глагола русский язык отличается от церковнославянского тем, что более развил как многократные, так и однократные формы», — говорит автор «Опыта исторической грамматики...». По разъяснению Буслаева, виды и залоги древнерусского и живого народного языка несравненно богаче ныне употребляемых.

Цитирую:

«Древнерусский язык производил многократные

формы свободнее нашего... По формам многократного вида нынешнее областное просторечие ближе к древнерусскому, нежели к нашему книжному языку. Последний же (т. е. книжный)... намеренно избегал многократных форм, из стремления усвоить себе склад церковнославянской речи, в которой малоупотребительны эти формы».

Примеры, приводимые Буслаевым: *давывал, куплйвал, веливал, отбивывал* и т. п. «Относительно приставок и окончаний древний русский язык отличается: 1) точностью... 2) свободою в употреблении приставок и окончаний», — заключает Буслаев.

В Маяковском и эти черты древнерусского и народного языка нашли бесстрашного своего воплотителя. Маяковский смело и свободно образует однократные и многократные формы глаголов, а приставками он пользуется избыточно и виртуозно:

*грохотом расчересчурясь, вызлить смерть, вызолачивайтесь, вымолоди себя, вслизились в землю* (то есть разбились оземь), *выхващиваются хвосты, я поступью гения мозг твой выгромил, головы вымозжу каменным Невским, вырыщи* (от рыскать), *выхмурясь тупенько, изругивался, вымаливался, морда комнаты выкосилась ужасом, выпляшет до конца, расколоколивали, распеснить боль, выжиревший, обжиревший, издымится мясо дьявола, размедведил, размозоливал, стены развоздушены, рассмерчивая, помычивая, распрабабкина техника, расперегрянуло такое, свылись* (слезинки), *поулыбываясь, глаза наслезенные бочками выкачу, исслезенные веки...* и т. д. и т. д.

Коснемся деепричастий у Маяковского.

И здесь кидается в глаза простота и бесстрашие их образования — такие ж, как в древнерусском и в «просторечии»: «жря и спя»; «жмя; оря; растя» — «очередной роман растя»; «жря и ржа»; испестря (вместо испестрив) и т. п.

**15**

Примечательной является близость Маяковского к древнерусским литературным памятникам, а также

к писателям-архаистам в употреблении слов сложных.

За малым исключением таких слов, как *паро-ход*, *паро-воз*, каждый чувствует в сложных словах архаичность. Даже такие неологизмы технической надобности, как *широковещание, радиовещание,* сложены по образцу древних церковнославянских слов, которые, в свою очередь, были переложением с греческого: *благо-ухание, веле-речие, чрево-вещание, благо-лепие*, *славо-словить* и т. д.

Но и древнему русскому языку сложные слова были свойственны ранее, чем в него хлынула церковнославянщина.

Буслаев пишет:

«1. Еще до введения христианства в России наш язык употреблял слова сложные, как это видим из собственных имен: 1) языческих божеств, напр. Даж-бог, Стри-бог; 2) людей, напр. Володи-мир, Свято-слав; 3) городов, напр. Нов-город...» «В древнерусском языке, рядом с упомянутыми переводными словами, употребляются и чисто русские сложные, как нарицательные, так и собственные имена. Напр. в Ипатьевском списке: Держи-слав, Толи-гневич... Нарицательные имена в «Слове о полку Игореве» — «в моем тереме златоверсем», «на своем златокованом престоле» и проч. В древнерусских стихах «терема златоверховаты», «пески рудожелтые». В просторечии употребляется много слов чистого русского сложения. Некоторые стали общим достоянием языка: напр. душегрейка... краснобай... рукоделье... челобитье; другие известные только в областных говорах: ледо-плав, листо-пад (месяц), лихоманка, реко-став, худо-умный... и мн. др.».

У Маяковского образование слов сложных настолько следует этим древнерусским образцам, что иногда его сложные слова кажутся взятыми из «Слова о полку», из древнерусских летописей, а иногда напоминают переводы из Гомера Гнедича и Жуковского: «медногорлой сиреной, огнедымные бразды, стих строкоперстый (ср. розовоперстая Аврора), громкоголосие меди, словоблудьище, Москва

камнекрасная (ср. белокаменная), огневержец, огнеплещет, мордой многохамой, громогромыхающая рифма» — последнее совсем уже напоминает «шлемовеющего Гектора с медноострым копьем».

Непонятно, почему поэт нашего времени должен обегать сложные слова. Маяковский сызнова заставил работать и этот архаизм.

## 16

Перейдем к синтаксису Маяковского. Синтаксис его дает достаточно особенностей, чтобы сблизить поэтику Маяковского и в этой области с древнерусской поэтикой.

Это, во-первых, кидающееся в глаза беспредложие в целом ряде случаев. Это ощущается как неологизм. Однако это есть виднейшая особенность древнерусского синтаксиса.

Был, например, так называемый дательный цели, включавший в себя и дательный места. Он употреблялся без предлога:

«Посла сына своего Мстислава Кыеву» (Ипатьевский список, летописи, под 1069 г.) — вместо «к Киеву» или «в Киев». Это древнейшая форма. Уже в XV веке беспредложный дательный места, отвечающий на вопрос *куда,* заменяется винительным падежом с предлогом: «в Киев».

В Остромировом евангелии (XI век) читаем: «Доньдеже положу врагы твоя подьножию ногами твоима» (вместо *к подножию).*

У Маяковского даже и слово то же самое, «подножие», и взято в том же самом беспредложном дательном места: «это я, Маяковский, подножию идола нес обезглавленного младенца» («Война и мир»).

Или еще — о Наполеоне:

«Он раз чуме приблизился троном» (вместо «к чуме»).

Дательный беспредложный цели дан в «Слове о полку Игореве»: «Избивая гуси и лебеди завтроку, обеду и ужине».

Здесь, попутно, укажу еще на одно замечательное

сходство между «Словом о полку Игореве» и поэмами-ораториями Маяковского, помимо метрической архитектоники и диалектического развития повествования, с частыми лирико-патетическими отступлениями.

В «Слове о полку Игореве» есть одно место, которое мне удалось возвратить к его истинному поэтическому смыслу, тогда как до сих пор оно толковалось буквально.

Про Игоря, потерпевшего поражение, сказано с укоризной:

русского злата насыпаша.

Конечно, ни о каком прямом «золоте русском» здесь и речи не может быть. Игорь и его русичи никакого «русского золота» с собою в поход не брали: напротив, после первой победы они половецким золотом обогатились, захватив богатые трофеи.

Помчаша красные девкы Половецкыя,
а с ними злато и паволоки
и драгыя оксамиты...

Что же это означает — «русского злата насыпаша»? А это означает: русского народу погубили (множество). Ибо «русское злато» есть не что иное, как поэтическое уподобление русской дружины Игоря, которая легла костьми в битве, а частью была потоплена. Золотистый, русый цвет волос русских воинов, несомненно, послужил автору «Слова о полку Игореве» для уподобления золоту.

Это не произвольное измышление! Древнерусский словарь прямо подтверждает это: церковнославянское и древнерусское «насыпати» означало применительно к жизни, к человеку — умереть, погибнуть (см. «Материалы для словаря древнерусского языка» акад. Изм. Ив. Срезневского).

А вот и пример из Иоанна экзарха Болгарского (X век):

«Въстань всяко есть соньм души же и плоти, и второе *насыпавшуўся* и падшему *животу статие»* (Калайдович, 44). В переводе конец этой фразы оз-

начает: «Второе погибшей («насыпавшейся») жизни восстание (воскресение)».

Поэтическое уподобление славян-воинов золоту по их русому, золотистому цвету волос находим и у Маяковского в поэме «Война и мир»:

Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна...

Я склонен думать, что Маяковский раскрыл, о каком «насыпанном русском золоте» идет речь в «Слове о полку Игореве».

Здесь, кстати, отметим, что в ранних изданиях Маяковского стоит усеченная форма прилагательного «непроглядные», а именно:

Негров *непроглядны* пятна.

Что именно так и следует читать, за это говорит самый ритм.

Свойственные древнему русскому языку, а также «просторечию» усеченные формы прилагательных применялись Маяковским: «негров *непроглядны* пятна», «сила наша *исполинска»*, *«белы* страны», «послушай, *златолобо»* (солнце); *«горяч* и *лихорадочен»*, *«бездыхан* и *угловат»* и т. д.

Как видим, краткая форма прилагательного употребляется не всегда в форме сказуемого.

«Слово о полку Игореве» и его влияние на поэмы-оратории Маяковского может стать предметом особого исследования.

## 17

Вернемся к беспредложному употреблению имен существительных в поэтике Маяковского.

В двух случаях отмечаю у него опускание предлога «с» при творительном падеже: 1. «Среди тонконогих, жидких кровью, трудом (вместо *с трудом)* поворачивая шею бычью». 2. «Этот, выколотыми глазами (вместо *с выколотыми)* пленник».

Беспредложное употребление дательного падежа вместо родительного, так называемый «дательный

предмета» и «дательный лица», — в большом ходу у Маяковского, а также, конечно, и в древнерусской поэтике — и по сей день в просторечии.

Они придают какую-то наивность синтаксису.

Маяковский неоднократно также применяет и дательный падеж причастия в особой древнерусской (и церковнославянской) *усеченной* форме.

В «Слове о полку Игореве»:

> Луце ж бы *потяту* быти, неже
> *полонену* быти.

У Маяковского:

> Быть
> Керенскому
> *биту и ободрану.*

Или:

> ушку девическому...
> не разалеться, тронуту.

Эта на редкость энергичная и изящная форма, конечно, должна быть восстановлена в нашем литературном языке, вопреки его «аргусам», преследующим «архаизмы» и «просторечие».

Русский народ любит эту форму: «бранью *праву* не быть»; «*горду* быть — *глупу* слыть».

Ее любил Пушкин: «Немцы просили его величество быть *уверену*». «Генералу Янусу повелено быть *готову* выступить...»

Ее любил Иван Петрович Павлов, непревзойденный знаток родного языка:

— И вам придется, сударь, быть *биту!* — говаривал великий физиолог.

Почти полвека идут бурные перемещения многомиллионных масс по неизмеримым просторам нашей родины.

Боец, уроженец Камчатки, целые годы провел где-либо в Белоруссии или на Украине. Украинец и белорус годами живет и окореняется где-либо в Архангельской или Олонецкой области, то есть в одном из гнездовьев древнего русского языка, где этот древ-

ний язык и поныне — живой язык народа, где уцелел и где доселе записывается собирателями Киевский цикл былин.

В горниле войн и революций вот уж полвека идет бурная и стремительная, как **никогда прежде, исполинская переплавка русского языка.**

Пресловутое «переселение народов» меркнет по масштабам перед тем передвижением миллионов, которое произошло в нашей стране.

Но еще и до первой войны с Германией, в капиталистической России, миллионы пролетариев и безземельных крестьян-переселенцев, под давлением экономической нужды, зачастую, начав жизнь где-либо на Украине или в Тамбовской губернии, затем навеки со своими детьми и внуками переселялись в Туркестан, в Казахстан, в Сибирь и на Амур, на Сахалин, в Забайкалье.

Областные языковые различия **стирались.**

В наши дни уже и Карпаты и Дунай — обиталище древней Руси — вовлечены в это небывалое движение народных многомиллионных масс.

Боец Красной Армии и партизан серб во многом понимали друг друга и без переводчика.

Это событие такого порядка, таких далеко идущих последствий для судеб языка, которым «разговаривал Ленин», что нельзя не указать на грандиозность предстоящих сдвигов в языке, а следовательно, и в литературе.

И «украинизмы», и «белорусизмы», и «карпаторусизмы», и даже «сербизмы», и «чехизмы» войдут, вероятно, в творимый новый язык. Но и языки братских народов — и, конечно, литературный язык их — не минуют притока «русизмов».

«На вчерашней странице стояло Петербург. Со слова Петроград перевернута новая страница русской поэзии и литературы», — сказал Маяковский в дни первой войны с Германией.

Последние годы особенно обогатили язык вновь сотворенными и воскрешенными словами.

«Бурги» уступили место «градам»!

## ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?

Когда я думаю о неистовом и каждодневном засорении русского языка ненужной иностранщиной, мне отрадно вспомнить, что уже в девятнадцатом веке русские писатели подымали бич сатиры против этого бедствия.

Ошибочно думать, что лишь помещица Курдюкова да мещанка Бальзаминова подобострастно уснащали без нужды нахватанной иностранщиной язык русского народа. Не только от невежества и от претензий стоять над трудовым народом, кичиться и чваниться перед ним произошло это бедствие, поразившее сперва дворянские круги и проявившееся у одного в галломании, у другого в англомании, а у иного и в германомании. Было время, например, в пору увлечения Гегелем, когда среди достойнейших представителей передовой общественной мысли сильно распространилось злое поветрие неистового «чужесловия». Об этой поре вспоминает Герцен в «Былом и думах»:

«Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских».

И ныне есть, с одной стороны, просто последыши Бальзаминовой и Курдюковой, а есть и высокообразованные люди разных призваний, но привыкшие, однако, к «птичьему языку», а потому и со спокойной душой загромождающие русский язык тысячами и тысячами «салютайзеров», «квенчингов» и «ингибито-

ров», даже и в том случае, когда данная область науки и производства, как, например, перегонка нефти, главнейшим образом разработана трудами русских ученых.

Обычно «папенька Бальзаминов» возражает: «А что же прикажете делать, если на русском языке равнозначных слов нет?» Истинный и прямой ответ на это прост: во-первых, они есть, а во-вторых, в целом ряде областей науки и производства, и уж, конечно, в быту, они с легкостью могут быть создаваемы, была бы только охота. А если ее нет, обратитесь к языку трудовых масс, позаимствуйтесь опытом словотворчества у людей вещественного, производительного труда: они извека — словотворцы!

Вот где еще и еще видишь глубокую истину «тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР об укреплении связи школы с жизнью: «Отрыв умственного труда от физического, превращение умственной деятельности в монополию господствующих классов нанесли огромный ущерб интеллектуальному развитию человечества».

Этот же отрыв умственного труда от физического, многовековое давление господствующего, офранцуженного дворянства и буржуазии на трудовой народ нанесли глубокий ущерб и развитию самобытного языка нашей науки и промышленности. Замусорились, запесочились самые родники естественного народного словотворчества в процессе труда.

Но иногда это же самое — так что же нам делать? — срывается с уст и у людей, которые искренне хотели бы помочь воплощению завета Ленина об очистке русского языка от излишней иностранщины.

Вспоминаю наши дружеские беседы с одним выдающимся физиком. В языке мы были с ним единомышленники. И, конечно, без особых поисков и страданий *«диссипацию* энергии» перевели как *«рассеяние* энергии», *«интерференцию* волн» — как *«наложение* волн», *«дифракцию»* — как *«огибание»* и т. д. Словом, переубеждать друг друга нам не приходи-

лось. Но вот что сказал мне мой физик с грустью: «Я-то убежден и вижу... да и не только я, а и многие из моих товарищей, что засорение языка, науки, техники, да и языка житейского, бытового иностранщиной поистине превращается в какую-то вакханалию... Как будто если он скажет «конфитюр», то варенье от этого станет слаще!.. — Он засмеялся. — Примеров я мог бы сотни привести этих ненужностей, — продолжал он. — Но вот один забавный случай, забавный и поучительный. «Сварка под флюсом» то и дело встречается в нашей повседневной печати. Флюс — слово немецкое. И, конечно, не этим оно мне неприятно. А тем, что сколько я его ни слышу, каждый раз мне представляется... распухшая от флюса щека, повязанная платком. А ведь чтобы замену ему найти, русскую, совсем и выдумывать ничего не надо, а просто надо вернуться к давно уже созданному слову *плавень*. Это наши рабочие-доменщики его создали. И какое же чудесное слово! Сколько в нем этой самой вашей вещественности: вещества, способствующие сварке, плавке, — и вот вам плавень!.. А все эти «флюсы», «салютайзеры», «квенчинги» — они же, конечно, затрудняют и самое работу и рост рабочего».

В ответ я тоже вспомнил один замечательный пример. Но уже из анатомии. Есть у каждого из из нас две мышцы на шее: одна — справа, другая — слева. Латинское их название, по точкам прикрепления, довольно неуклюже: *мускулюс стерноклейдомастоидеус*. Ну, а когда сделали русский буквальный перевод-кальку, то получилось еще хуже: *грудинно-ключично-сосцовая мышца*. Но каково же было мое восхищение, когда у одного старинного русского анатома нашел я совсем иное название этой мышцы — легкое, изящное и вдобавок прямо означающее, что именно эта мышца делает: *кивательная мышца*. Ибо она действительно осуществляет кивок, наклон головы.

Пример, достойный подражания! А у нас непременно силятся дать буквальную кальку чужестранного термина. Это ничем не оправдано. В любом языке

возникшие в нем термины никогда не обнимают всего существа явления, предмета, орудия. Да это и невозможно. Сколько угодно можно привести примеров, когда иностранное название какого-либо устройства, прибора возникло по чисто случайным обстоятельствам, как, например, слово «танк» — бак. Более того, словарь иностранных слов, принятых в нашем обиходе, изобилует названиями просто нелепыми, дурного сложения, как, например, *антибиотики*. «Биос» — жизнь, а «анти» — против. И если мы будем буквально переводить его, то это будет означать «средство... против жизни»! Словарь труда, производства создавался многообразными способами. Например, путем уподобления, переноса, метафоры: *плечо* рычага, *пальцы* бороны, *лопатка*, *ключица, рукав* реки.

Но есть еще один извечный способ сотворения новых слов, глубоко народный, неисчерпаемый и уж не такой-то мудреный.

Вот об этом и поговорим.

* * *

Возьмем для раздумья хотя бы следующие ряды промышленно-производственных слов:

рез*ец*, зуб*ец*, шелк-сыр*ец;* махов*ик*, грузов*ик*, паров*ик;* осад*ок*, отрост*ок*, огар*ок;* движ*ок*, лот*ок*, бел*ок;* рез*ак*, тес*ак*, черп*ак;* подпят*ник*, подшип*ник*, науш*ник;* свер*ло*, вес*ло*, сед*ло;* свет*ило*, мер*ило*, ш*ило*, жн*иво*, топл*иво*, огн*иво;* истреби*тель*, выключа*тель*, сшива*тель;* пая*льник*, холоди*льник*, буди*льник;* кипе*ние*, усвое*ние*, зажига*ние;* клад*ка*, выработ*ка*, полив*ка* (суффикс *к* с окончанием женского рода *а*); образование на *тие, ние:* выгну*тие*, проры*тие*, выпрямле*ние;* част*оты*, шир*оты* (с окончанием *ы*, множественного числа); кло*ун*, шат*ун*, бег*ун*; мет*чик*, дат*чик*, рез*чик;* тяг*ач*.

На этом остановимся.

Каждый заметит, что во всех этих словах мы выделили так называемый *суффикс*. Это суффикс особый: суффикс *орудийности*. С помощью таковых на-

род в процессе труда создал бесчисленное множество понятий, обозначающих любые орудия и устройства производства, а также и материалы. Здесь позволю себе, для пользы дела, напомнить об этом понятии: суффикс. Я ведь не для языковедов это пишу, а для людей любой иной специальности, прежде всего для молодежи, только что вступающей в науку и в производство. Грамматические понятия, если только не обращаться с ними постоянно, со временем не то, что позабываются, а становятся расплывчатыми. Вот почему я и думаю, что обиды не будет.

Суффиксом называют ту часть слова, которая стоит после корня. А что такое *корень?* А это общая, далее уже неразложимая часть родственных слов. Так, например, в родственных словах; *вод*-а, *вод*-ный, *вод*-янистый и т. д. — корнем будет *вод*. А *н* в слове *водный* будет суффиксом. Иногда в слове бывает и несколько суффиксов, как, например, в слове «вод-*ян*-*ист*-ый». Приставкой же (или префиксом) именуют ту часть слова, которая стоит *перед* корнем: *на*-воднение.

Для своих писательских надобностей я давно уже называю суффикс *словотвором*. Этак мне явственнее, зримее, что ли, становится его поистине изумительная работа в языке: т в о р и т ь  н о в ы е  с л о в а  и  ф о р м ы  с л о в.

С помощью суффиксов орудийности можно легко, и вполне в духе языка, создавать новые понятия для какой угодно области производства, для любой отрасли науки.

А то ведь у нас народное искусство — создавать новые производственные русские термины — уже настолько заброшено, что, кажется, что и нету других способов, как только через производство сложных слов: *лед-о-ход, пар-о-воз*, *бур-е-лом*, *звезд-о-лет* и т. д. То есть берётся обычно в первую часть сложного слова корень существительного, а во вторую — корень глагола, и соединяются меж собою соединительным *о* или *е*. Что ж, и это неплохой и плодоносный способ, но ведь он отнюдь же не единственный и не главный! А вот овладеть нехитрым, но забытым

уменьем оснащать корень слова суффиксом орудийности — это совершенно необходимо людям самых разных призваний!

Мы же безудержно вводим чужестранные слова. А иной «папенька Бальзаминов» еще и в ладоши плещет: «Так, так! иного пути и не надо. И что это за квасной патриотизм — желать русского словаря промышленности и науки!»

Нужно помнить великий закон всего живого: упражнение усиливает, растит и укрепляет, а неупражнение расслабляет, обессиливает, губит. Неупражняемая работой мышца становится дряблой.

То же и с языком.

Восторженно-неистовое пожирание всевозможного чужесловия таит, помимо прочего, еще и ту опасность, что запесочиваются, глохнут год от году и самые родники русского словообразования. А что о них можно будет прочесть в больших руководствах грамматики, от этого радости немного.

Когда я думаю об этом, я не могу не вспомнить высокий исторический подвиг чешского народа, который под многовековым напором воинствующего германизма, под железной пятой габсбургской монархии полностью отстоял *чешскость* чешского языка, развил в полной мере все его силы и возможности. Великие представители чешской интеллигенции, его «будители» шли во главе этого движения. Но и рядовой чешский учитель обессмертил себя в этом историческом подвиге. И вот поныне чист чешский язык от иностранных заимствований. Изредка встречаются, конечно, эти ненужности, как, например, «офензива» — наступление, «конверзаце»—разговор, «шпацирка»— прогулка, но в целом чешский язык науки и промышленности великолепно самобытен. Вот всего лишь горсточка примеров, а их ведь тысячи и тысячи:

шлюз — здимадло; шоссе — пóдвозок; парашют — пáдак; перпендикулярно — кóлмо; абсцисса — ýсечка; автострада — далнице; элемент — првек; экватор — рóвник; грамматика — млýвнице; хрестома-

тия — чи́танка; аэропорт — ле́тиште; лоцман — ло́дивод; театр — ди́вадло; корреспондент — спра́водай; проездной билет — йи́зденка; шезлонг — ле́гатко; парикмахер — го́лич и т. д. и т. д. Само собой разумеется, что все эти тысячи слов произведены в духе языка, по его законам и заведомо понятны любому чеху, так как крепко-накрепко связаны с предметностью, с вещественностью производства, науки, быта.

И что же? Разве посмеет кто-либо сказать, что чешская наука и промышленность по причине этой глубокой чешскости своего словаря хоть в чем-либо отстали от науки Запада или ослабили свои международные связи?

Так почему бы нам и не поучиться доброму у братьев-чехов?!

На это я многократно слышал от работников науки и промышленности такой примерно ответ:

— Но как его создавать, русский термин? По каким правилам? А вдруг высмеют: «мокроступы», скажут, сочиняете вместо «калош»!

Тут надо сказать прямо: великий одиночка Ломоносов обогатил отечественную науку множеством отличных русских слов, которые прекрасно работают и поныне. Одиночка Карамзин не отстал в этом от него. Такие великаны нашей науки, как Павлов, Крылов, Жуковский, не боялись, что их высмеют, создавали русские понятия науки, а вот целое огромное учреждение — Институт русского языка Академии наук СССР, — он как будто не подарил своему народу ни одного русского термина! Научил ли институт этот деятелей иных отраслей знания, как по законам русского словообразования создавать эти термины? А почему бы не выпустить краткую книжечку с правилами надлежащего словообразования?

Что же касается избитых и пошлых выходок «испытанных остряков» насчет калош и «мокроступов», то шуточки этих снобов — они столетней давности. Перешагнем через них!

Пришло время открыто признать вредным для

культуры народа противоестественный обычай: чуть что — сейчас же хватать иностранное обозначение для любого отечественного изобретения, открытия, установки. И это в те времена, когда язык, которым «разговаривал Ленин», выходит на положение всемирного, когда в старейших университетах Англии изучение русского языка становится обязательным!

Да и, наконец, пора подумать о том, не наносит ли это ущерб достоинству великого народа, создавшего первые спутники Земли, первые звездолеты!..

## О РУССКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЗАГОЛОВОК более чем странный! Этак мы скоро начнем говорить о «французскости» французского языка, о «чешскости» чешского и т. д. и т. д. А между тем загляните в любую школьную грамматику, и вы убедитесь, что степенями сравнения обладают лишь *качественные* прилагательные, а *относительные* степеней сравнения не имеют. *Русский, чешский* (язык) — прилагательные относительные, а стало быть, не уместно говорить о разных степенях «русскости» или «чешскости».

Да! На первый взгляд это много раз слышанное мною возражение как будто и справедливо, с чисто формальной, грамматической стороны. Но если вы привыкли вдумываться в самое существо языка, во всей его цельности — и книжного и устноречевого, — то вы, скорее сердцем, чем ве́деньем, примете реальность большей или меньшей «русскости» в языке разных людей.

Мне вспоминается тут суждение великого чешского поэта Яна Неруды о языке его старших собратьев — Эрбена и Божены Немцовой: «Так *чешски,* как писали Эрбен и Немцова, не пишет из нас, нынешних, никто».

Стало быть, нисколько не сомневался чешский поэт и мыслитель, что можно писать чрезвычайно *чешски,* а можно и не очень чешски. Но изучите взгляды великих русских писателей и мыслителей языка, и вы увидите, что решительно все они точно так же судили о языке. Бо́льшая или меньшая *русскость русского языка* — это было для них совершенно реальным понятием. Незачем загромождать статью бесчисленными образчиками такого именно суждения, буквально от Тредиаковского до... Маяковского. Здесь нам всего

важнее определить хотя бы некоторые *признаки, «стигматы»* этой «русскости», подобраться к объему самого этого понятия. И вряд ли мы найдем для этого более выгодное, более отчетливое суждение, чем суждение Виссариона Белинского о языке Ивана Андреевича Крылова: «О языке его нечего и говорить; это неисчерпаемый источник русизмов... Множество стихов Крылова обратилось в пословицы и поговорки, которыми часто можно окончить спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь теоретическими доводами».

Итак: *неисчерпаемый источник русизмов»* — вот что такое язык Крылова по определению великого критика-мыслителя. Тогда самый простой путь — это взять да и рассмотреть язык крыловских басен: в чем его резкие особенности? — и мы, несомненно, приблизимся к пониманию того, что такое русскость русского языка.

Для начала мы таким путем и пойдем. Но само собой разумеется, что один Крылов заведомо не мог исчерпать, отобразить всю эту «русскость» языка, — да ее, вероятно, еще долго-долго не исчерпают, не воплотят и грядущие поколения поэтов и писателей: хватит на всех!.. Это я к тому говорю, что и здесь мне придется приводить образцы не только из одного Крылова.

И еще одна необходимейшая оговорка, дабы взгляды Белинского в этой области были представлены в их подлинном виде: он понимал слово «русизмы» не только в чистом языковом, словесном смысле, а и в более обширном, в смысле истинной *народности,* национальности писателя и поэта. Он следовал здесь пушкинскому воззрению: «Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов», — заканчивает Пушкин свою статью «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». «...Русизмы бывают не в одном языке, но и в понятиях...» — утверждает Белинский. Я продолжу выдержку из этой его статьи о Крылове, и не только потому, что здесь представлен сгусток воззрений Белинского на истинную и на сусальную, мнимую народность у писателей и поэ-

тов — об этом не мешает вспомнить и нам! — а еще и потому, что выраженные здесь взгляды великого критика и революционного демократа служат нам твердой опорой, когда мы предъявляем требование истинной, глубокой народности и к словарю и к речевому строю писателей.

«Чего бы, казалось, легче русскому быть русским в своих сочинениях? — вопрошает Белинский. — А между тем, — утверждает он, отвечая на этот свой вопрос, — русскому гораздо легче быть в своих сочинениях даровитым, нежели *русским*. Без таланта творчества невозможно быть народным; но, имея талант творчества, можно и не быть народным... После Пушкина, первого русского поэта, который был велик и национален, — после Пушкина, — говорит Белинский, — все пустились в народность, все за нею гонятся, а достигают ее только те, которые о ней вовсе не заботятся, стараясь быть только самими собою».

Далее он жестоко высмеивает языковые подделки под народность, щеголянье некстати нахватанными — якобы ух какими русскими! — словечками, вроде *дока, пенник, однокашник, однокорытник, важно, почтенно, нехристи* и т. д. и т. д. — словом, весь маскарад лженародности. И здесь поневоле мне припомнились некоторые современные нам образчики того же самого порядка из числа, увы, многих и многих. Имен авторов я при этом называть не стану, в подлинности же образчиков прошу не сомневаться.

Вот некий очеркист выступает по телевидению. В производстве, о котором он говорит, не везде еще покончено с тяжелым ручным трудом. Об этом хочется сказать ему и посильнее и поновее. И вот миллионы людей у экранов слышат: «Как жаль, что такая *дюжая* работа все еще производится вручную!» Совсем не по-русски. Работа дюжей быть не может — так можно сказать о человеке: «Мужик ретивый был работник, и *дюж*, и свеж на взгляд» (Крылов). Надо полагать, что очеркист этот в поисках русскости, народности стал жертвой легкомысленного налета на словарь Даля. Ну, а где была редакция?! Другой очеркист, очевидно желая как-то по-особенному вос-

славить Ленинград, назвал его красоту... *неизбывной*: «Неизбывная красота Ленинграда». И этакое печатается в газете! Спросить бы этого литератора: разве красота уж такое горе, что ее следует *избывать?!*

Эфир не менее долготерпив, чем бумага! Он тоже все стерпит, но требовать русскости русского языка и в печати и в эфире — это отнюдь не «пуризм»: речь идет ведь о воспитании чувства языка у миллионов и миллионов людей!

Примеры можно было бы приводить еще и еще.

Вот один писатель вместо «близнецы» написал без всякой надобности «близнята»; казалось бы, что тут такого? Действительно, в иных областях нашего Отечества еще осталось и такое обозначение для близнецов. Но как раз только «нечувственник» родного языка и мог ухватить такое словечко, не ведая, что народ с давних пор употребляет его в первую очередь совсем в ином смысле — узкоанатомическом.

Другой пишет, что его герой «решил остаться в колхозе *напрочь»*. Уж лучше бы он *«напрочь»* уехал из колхоза. Толку от него все равно будет мало.

С давних пор интеллигент-белоручка, потомственный буржуа-горожанин, чьи предки не возлагали руки своей на плуг, не натирали мозолей на ладонях рукоятью молота или топорищем, — с давних пор через пресловутые гимназии утверждал он, в сущности административным путем, свои языковые нормы. Так называемое *употребление* есть, конечно, огромная, а для основоположников нашего языкознания — и верховная сила в языке. Но ведь это только до тех пор, пока печатное слово не возобладало над устноречевым, и до тех пор, пока у рычагов этого могущественного орудия не встали вскормленники грамматики Греча, люди, оторванные от материального, производственного труда, чуждые его *вещественности*.

Не могу я, например, поверить, чтобы сам трудовой народ, творивший свои изумительные пословицы и поговорки, землепашец по преимуществу, мог обессмыслить многие из этих пословиц и поговорок, истинность которых подтверждала ему изо дня в день сама действительность земледельческого труда. Не-

сомненно, порча эта внедрялась через интеллигентско-городское употребление, через литературу. Она шла сверху. Доказать это легко.

Возьмем для начала постоянно слышимую у нас поговорку: «Сила солому ломит!» Какой смысл мы влагаем в нее? А вот какой. Куда, дескать, соломе какой-то, *жалкой* соломе выстоять против силы! Но в том-то и дело, что никогда такой пословицы народ не создавал, да и не мог создать, ибо земледельческий, полевой, так сказать, опыт каждый день говорил ему прямо обратное: что *солому-то* как раз *очень трудно сломать,* гораздо труднее, чем палку. Жница-крестьянка во время жатвы могла изо дня в день в этом убеждаться, когда свивала из пучка этой соломы так называемое «перевясло» для снопа. Вот этот вековой опыт и отразился, с гениальной мыслеемкостью, точностью и вещественностью, в пословице: «Сила *и* солому ломит!» Вот именно — *«и»*; в этом *«и»* смысловое средоточие всей пословицы. Невзыскательным, простым языком смысл ее можно изложить так: да, очень, очень трудно сломать солому, однако может найтись такая сила, что даже *и солому* сломает!..

И знаменательно, что истинно народный поэт, Некрасов, не пошел вослед этой порче. И у него мы видим пословицу в ее истинном, народном виде:

Сила ломит *и соломушку* * —
Поклонись пониже ей,
Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей...

(«Песня Еремушке»)

То же самое случилось и с пословицей «Делу время, а потехе час»! Ее постоянно слышишь в том смысле, что, дескать, делу надо предоставлять много времени, а на потеху один только час, и того, мол, довольно! Иначе говоря, «потеха» здесь осуждается, на нее смотрят косо. И опять-таки этакой «аскетической» пословицы народ не создавал. На полях «Урядника

---

* Здесь и далее курсив мой. — *А. Ю.*

сокольничья пути» рукою царя Алексея Михайловича эта пословица написана в ее истинном виде: «Делу время *и* потехе час». Известно, что Алексей Михайлович был страстно привержен к соколиной и всякой иной «потехе», и вот в защиту-то ее он и приводит народную пословицу. Это *«и»* здесь необычайно существенно; кстати сказать, очень тонкая конструкция народной русской речи: не осуждайте, мол, и «потеху»; пусть и ей будет своя пора, свой «час»!

То есть, как видите, позднейшее употребление перевернуло эту древнюю пословицу прямо-таки на сто восемьдесят градусов и отняло у нее всю ее тонкость и мудрость.

И опять-таки знаменательно, что Сергей Тимофеевич Аксаков — сам, как знаете, страстный певец и приверженец охотничьей «потехи» — приводит эту пословицу в ее настоящем народном виде.

Весьма раздражает меня, когда гостеприимный какой-либо хозяин во время затянувшейся беседы с гостем, видя, что чего-то долгонько не накрывают на стол, вдруг скажет своей жене с лукаво-многозначительным намеком: «Ну, однако, соловья *баснями* не кормят!» Вот ведь как испортили замечательную пословицу: «Басни соловья не кормят». А «басни» (от глагола «баяти») означало в древнерусском языке и *«песни»*. В чешском языке *«басень»* и доселе означает стих, а «басник» — поэт. То есть: «Песни соловья не кормят!» — вот что означала сия загубленная пословица, и сколько же здесь житейской мудрости, наблюдательности и как бы печальной усмешки над участью поэтов, песнетворцев!

Всегда дивился невразумительности известной поговорки *«С суконным рылом, да в калашный ряд»*, пока не докопался, наконец, до ее первоначального, народного вида: *«Куда нам с посконным рылом, да в суконный ряд!»* Вот это иное дело! И сколько здесь классовой, я бы сказал, горечи и язвительности: не ласков бывал прием в «красном», *суконном* ряду покупателю-мужику в *посконной* рубахе! А «калашный ряд», «суконное рыло» — прямо-таки бессмыслица.

Не много-то осталось смысла и в пословице *«Лес рубят — щепки летят!»* — уж очень убога, простовата «сентенция»; да ведь летят же щепки и когда избу строят, бревна отесывают. Но вот когда народ говорил: «*В лесу рубят, а в мир щепки летят!*», или: «В Москве рубят, а к нам щепки летят!» — то сколько в этом было поэтической мудрости иносказания, сколько историзма!

Не знаю, с чьей «легкой руки» и когда началась порча пословицы «Су́женого, ряженого на коне не объедешь», знаю лишь, что в своем первозданном, народном виде она звучала так: *«Сужòного-рожòного* и на коне не объедешь!» Здесь была отражена древняя, еще языческая вера народа в *судьбу*, иначе говоря, в *«суд»* (отсюда — «сужòный»); во втором слове этой пословицы — *«рожòный»* — заключено то же самое поверье: «уж что кому на *роду* написано»; «рождàницею» в старину называли рок, судьбу, жребий. А с другой стороны, слово «сужòное» относили к *жениху*, а «рожòное» — к невесте. За это неопровержимо говорит пословица: «Одно дитя рожоное (дочь), другое — сужоное (зять)».

И в заключение этого перечня еще один пример.

Мы привыкли говорить: *«Пьяному море по колено»*. Пословица и в таком виде исполнена доброго смысла, а все-таки в ее исконном виде она была еще лучше, гораздо остроумнее: *«Пьяному море по колено, а лужа по уши!..»* Тут весь пьяница, со всем его хвастовством: мне, дескать и море нипочем! — и с его жалкой беспомощностью: споткнувшись и упав среди лужи, может в недобрый час и утонуть!

Мне часто приходит на мысль такой вопрос: вот и печать, и радио, и школа — силы в языковом воспитании неимоверные; они вступают нередко в борьбу и с многовековым употреблением народным и, глядишь, начинают в том-другом подавлять его, «исправлять»; а что, если попытаться восстановить истинное, первичнонародное звучание испорченных, обессмысленных пословиц? Удастся ли это? И как скоро?.. Во всяком случае, попытка отнюдь не бесполезная! Это

уж, во всяком случае, более целесообразное применение и печати и волн эфира, чем предоставлять эти исполинские силы в распоряжение запретителей и «чистильщиков» русского языка, вооруженных грамматикой Греча!

А то ведь отчаяние и тоска берет: тот расходует зря свое когда-то полученное языковое образование на преследование в русском языке отдельных слов и выражений, которые почему-то показались ему «неграмотными», например слово *«пошив»;* тот додумался, глядишь, представлять язык всех писателей на суд своего очень умного двенадцатилетнего племянника и не стесняется печатать эти благоглупости; а тот, наконец, все еще лютует против слова *«учеба»* и, стремясь доказать недоказуемое, допускает извращения исторической истины. Так, вопреки несомненному существованию слова «учеба» в быту русских людей еще в шестнадцатом веке («А мастеру за учебу пять рублев»), решительно заявляют, что слово это проникло-де в нашу бытовую речь всего лет тридцать пять — сорок тому назад. Мало этого! Опять-таки вопреки правде гонитель слова «учеба» пытается уверить, что в языке Ленина оно имело только отрицательный смысл: «зубрежки». Чтобы опровергнуть это неверное утверждение, достаточно было бы привести следующие ленинские слова: «Чтобы осуществить учебу, мы должны не допускать политической ошибки» (т. 33, стр. 288, изд. 4). Неужели о *«зубрежке»* говорит здесь Владимир Ильич?

Достается и *славянизмам,* которых (чего не ведают, очевидно, запретители) в современной русской речи — добрая половина. Недавно один известный писатель, вздумав теоретизировать в языке, страшно ополчился в газетной статье на ходовые у нас славянизмы, придающие торжественность и величавость, когда этого хотят достигнуть. При этом он спутал торжественность с «напыщенностью»: вот уж отнюдь не синонимы! «Кроме того, этот язык напыщен, — поучал литератор, — «вручил» вместо «передал», «преподнес» вместо «подарил», «завершил» вместо «окончил», «проживает» вместо «живет»; «дворец бракосочета-

ний» вместо «свадебный дворец»...* Как видите, человек впал в чисто вкусовое гонение на *синонимы,* обилие которых, как ведомо каждому, есть одно из славнейших достоинств русского языка. Увы! У нас часто забывают еще и то, что слово *«синоним»* означает вовсе не тождественное, а лишь *подобозначное* слово, вносящее некий особый оттенок. Так старинные грамматисты и переводили слово «синоним»: *подобозначие.* Сравним хотя бы слова «закончил» и «завершил». Если на торжественном заводском собрании будет сказано, что план минувшего года *завершен* с превышением, то это безусловно *стилистически* будет и тоньше и торжественнее, чем «план был *закончен»*. Да и правильнее, более в духе русского языка. Знамя *вручается;* высокие производственные награды тоже *вручаются,* а не *«передаются».* Что же касается слов *«живет»* и *«проживает»,* то спасибо народу надо сказать, что он создал из этих *подобозначных* слов, никого не спросясь, два различных понятия, а не шпынять его за это!

Но уж заведомо нигде столь много не упражняется гонителей, как в травле «мужицких», «грубых» слов, именуемых, правда, «провинциализмами», «областными» словами. Приведу один случай, поистине анекдотический.

Одна девушка-редактор, стажирующая при издательстве после окончания факультета редактуры, заспорила со мной об этих самых «деревенских» словах. С ходу она показала нам достижения своей *учебы:* «Да! — сказала она. — Я считаю, что есть активный словарный фонд и есть пассивный словарный фонд. А эти ваши крестьянские слова — к чему они?!. Никто сейчас не «засупонивает» лошадь, не прилаживает эти... как их?.. «гужи». Это все у писателя — в пассивном фонде!..» — «Значит, вы тоже вычеркнули бы слово «гумно»?» — спросил я, дивясь и смиряясь перед ее ученостью. Боже, как она покраснела! Словно бы услыхала непристойность. Глаза ее гневно

* К. Паустовский, Живое и мертвое слово. «Известия», 28 декабря 1960 года.

сверкнули. Но через силу сдержалась. «Еще бы!..» — резко произнесла она. И отвернулась, и отошла... А я подумал, глядя ей вслед: счастлив же бедный Пушкин, что не дожил до такого редактора со своим дерзким, а в глазах этой суровой девушки даже и неприличным признанием, что ныне, дескать, любит он:

...Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи;
Перед гумном соломы кучи...

(«Путешествие Онегина»).

Да ведь и И. А. Бунину досталось бы: «Я лежал на гумне в омете, долго читал...» «Тоже, нашли себе место, где читать! А еще писатель!» — могла бы сказать ему сия благовоспитанная и суровая redactrice!..

* * *

Итак — о языке Крылова. Сперва — о словаре, а потом — и о речестрое. При самом первом охвате крыловского словаря бросится вам в глаза его *вещественная, предметная* насыщенность и *верность трудовому быту* народа. Пускай одной лишь строкой затронута в басне профессия, так сказать, лица, избранного ею, но будьте уверены, что великий русский баснописец не погрешит против принятых среди людей этого круга слов и выражений. Возьмите для примера басню «Крестьянин и топор». «Мужик *избу рубя...*» — начинается она. И далее: «Меня ты попусту иступишь, а все *избы не срубишь»,* — безупречное плотницкое да и вообще крестьянское выражение! Для горожанина-интеллигента «срубить» означало — *свалить с помощью топора, ссечь:* «срубить дерево». Как это можно «срубить избу»?! За это же наказывать надо! А в народном русском языке и в древнейших летописях — не «построить город», а именно *«срубить* город».

Но вот баснописец решил облечь свое поучение в понятие, взятое из мира портновского. И тотчас появляются речения: *«продрался»* (на локтях); *«на-*

*ставлю»* (рукава), — опять-таки безупречно профессиональные («Тришкин кафтан»).

Гряды у Крылова огородник взрыл *«под огурцы»* («Огородник и философ»); и доныне огородница-хозяйка иначе не скажет. «Волк на псарне» — и вот перед вами замелькали: *псарня, овчарня, хлевы, псари, ловчий;* «снявши шкуру» и «гончих стая»...

Видно, не раз видывал Крылов, с какой бережностью вывозили, бывало, на базар глиняные горшки. Трудно было и выбрать из крестьянско-ремесленного быта что-либо иное, требующее такой же осторожности в перевозке. И недаром же сам народ отметил сие в пословице: «Гневлив с горшки не ездит!» И самой же первой строкой — *«с горшками* шел обоз» — Крылов очень многое сказал человеку, не оторванному от крестьянского быта. И когда раздается последняя, катастрофическая строка: «Прощай, хозяйские горшки!» — читатель, рассмеявшись, скажет: «Ну, конечно, я так и знал!..»

Где опаснее всего грызуны в сельском хозяйстве? Да, конечно, в закромах, в житницах, *в амбарах.* Там-то всего нужнее и кошка. И, само собою разумеется, что пресловутая завистливая *«щука»* просит «мышей *в амбаре* половить», — в амбаре, а не вообще где-то там...

Демьян потчует несчастного Фоку ухой, — и вы посмотрите, какое роскошество подлинно деревенского гурманства развертывается перед вами в самом словаре «Демьяновой ухи»: «Вот *лещик, потроха, вот стерляди кусочек...»*

Река у Крылова, разбушевавшись в *«водополье»,* «озими» разрывает и *срывает мельницы.* Да ведь в одной только этой крохотной горсточке речений — целая, если вдуматься, картина, написанная красками русского крестьянского быта, выраженная его живым языком!

Так можете вы пройтись по очень многим басням Крылова, и всюду в его словаре вы откроете кидающуюся в глаза *вещественно-предметную* насыщенность словаря и *верность этого словаря трудовым будням русского крестьянства дореволюционной поры.*

Вот то общее, что следует сказать о «русскости» крыловского словаря. Из классиков, быть может, один Лев Толстой, да и то лишь в так называемых *народных рассказах,* превосходит его в этом отношении.

С глубоким удовлетворением должен признать, что произведения советских поэтов и прозаиков именно в этом, общем достоинстве художественного словаря являют нам многие прекрасные образцы. Даже одно возникновение так называемого «производственного романа» и «документальных повестей», не говоря уже об очерках, делает это неизбежным и несомненным.

Язык профессий неисчерпаем, и он художественно прекрасен, он обладает огромной степенью русскости, народности, если только не захлестывает его по небрежению нашему мутный поток непереваренной иностранщины.

Мы и ильюшинский «ИЛ-18», и туполевские «ТУ» не столь давно стали *именовать* отвратительным словом «лайнер»... «Воздушный лайнер»! А почему бы не поискать своего слова? Ведь бросили же мы за ненадобностью и «аэроплан» и «геликоптер»!

...Однако вернемся к языку Крылова. Нечего и пытаться перечесть образчики крыловского просторечия: «От радости в зобу *дыханье сперло...»; «горланит вздор»;* «с натуги *лопнула* и *околела»;* «не женихи, а *женишонки»; «дивовался»;* «я *солнцев брат»;* «они — чтоб *наутек»; «не давывал»; «чай*, он *зубаст»;* «что у меня его *с руками оторвут*»; «*дирал* бесчинно»; «*тащатся* шаг за шаг»; «*по мне*, ни к черту не годится»; «кусочек *урвала*»; «*толк* ногой»; «*хвать* друга камнем в лоб» и т. д. и т. д. У Крылова просторечно все: и самый отбор слов и все приемы словообразования и формообразования — его суффиксация и префиксация.

Русской речи свойственны щедро рассыпаемые уменьшительные, ласкательные, увеличительные и уничижительные суффиксы, так называемые, по-ученому, «суффиксы оценки». Долгое время в книжной речи находились они на положении гонимых. Но устная словесность русского народа, подобно и разговорной речи, уснащает этими суффиксами не только

имена существительные, но и прилагательные, и наречия, и даже глаголы — словом, любую часть речи; зачастую в паре с таковым суффиксом работает и префикс (приставка). От всего этого речь приобретает яркость, живость, страстность — словом, «экспрессивность». Кажется, ну как можно дать ласкательный, уменьшительный вид... глаголу? А русская мать-крестьянка или нянюшка бесстрашно разрешает этот вопрос: склонясь над засыпающим или прихворнувшим ребенком, она говорит ему: *«Спатеньки* хочешь?», или: *«Питеньки* хочешь?»

Вот этими русизмами, этой народностью изобилует и речь Крылова: *близёхонько; голубушка; шейка; носок; голосок; сестрица; немножечко; тростиночка; гвоздик; ночка; смирнёхонько; домок; травка; кустик* и т. д.

Другая разительная, самоочевидная черта крыловской речи — это изобилие в ней вводных, служебных, или, как еще именуют их, «модальных», слов и речений (от слова «modus» — наклонение). Сюда входят всевозможные союзы, междометия, наречия и частицы. Без них вообще немыслима речь живого человека и художественная речь. И здесь, попутно, нельзя не выразить горестного недоумения, что у нас даже книжки пишутся, где оные вводные или модальные частицы и речения подвергаются осуждению; а иной не стесняется даже обозвать их «словами-паразитами»!

Но всмотритесь хотя бы в этот далеко не полный список частиц по их значению, и вы увидите, может ли русская речь существовать без них. Они бывают: *усилительные:* ведь, даже, то и, ни, же; *ограничительные*: лишь, только; *указательные:* вот, вон, это; *вопросительные:* разве, ли, неужели, ужели, ужель; *восклицательные:* что за, как («*Что за* уха, да как жирна!»); *уточнительные:* как раз, подлинно, именно; *неопределенные:* -то, -либо, -нибудь, кое-...

Объединяя все это под именем *«модальных»* речений, можно сказать, что и союзы, и междометия, и наречия, и частицы наполняют нашу речь кровью и страстью, делают ее трепетной, выразительной, живой.

Уверенность, сомнение, боязнь, допущение, сожаление, надежда, одобрение и осуждение — словом, все чувства говорящего или пишущего, любые оттенки его отношения к предмету речи, все это выражается «модальными» словами. А какая часть речи — это даже и не важно. К счастью (вот уже и модальное словечко!), ведущие представители нашего языкознания давно уже оценили эту область как едва ли не главнейшую в русской стилистике. И только отдельные крохоборы занимаются все еще вылавливанием и запретом отдельных вводных (модальных) слов и целых речений. Тот запрещает: *вот, так сказать, понятно, само собой разумеется, в самом деле;* другой: *как говорится, авось, впрочем, пожалуй, вообще;* третий: *благо, к счастью, навряд ли, собственно говоря...* Да разве все запреты перечислишь! Нечего говорить, что такие модальные речения, как зачинательный союз *«а»* или противительный союз *«а и»* («Делу время, *а и* потехе час!»; «Не позволяешь, *а и* не надо!..»); такие чисто народные союзы, как *«да»* (вместо *«и»); «ино»* («Река близко, *ино* лес далеко!») — все это огулом запрещается, все это «нелитературная» речь (неловко ведь сказать — «мужицкая»!).

Потрясающий случай, как «причесывали» блюстители «литературных норм» самого Крылова, рассказывает в своей книге «Правильность и чистота русской речи» известный русский языковед В. Чернышев.

Над этим случаем, ох, как следует задуматься! В издании басен Крылова 1898 года крыловское окончание *«у»* родительного падежа мужеских имен («разговор*у*... сор*у*... досуг*у*... дух*у*...) в басне «Пустынник и медведь» всюду исправлено редактором на окончание *«а»*. Причем редактор не постеснялся искалечить рифму, даже уничтожить ее. И получилось вот что:

О чем у них и что бывало разговор*а*...
. . . . . . . . . . . . . . .
Я по сию не знаю пор*у*.
. . . . . . . . . . . . . . .
Так из избы не вынесено сор*а*...

А далее к слову «другу» рифмою стало не «досугу», а «досуга»; крыловское «час от часу» переделано в «час от часа»; «духу» превратилось под рукою варвара-редактора в «духа», несмотря на то, что следующая за ней, рифмующая строка гласит: «Сам думает: молчи ж, уж я тебя, воструху».

Приводя этот пример безграмотного, лжеученого произвола, Чернышев негодует: «В современной печати заметно стремление совершенно истребить форму с «у». Такая нивелировка речи происходит *с явным ущербом для языка,* в котором формы на «у» свойственны определенным случаям употребления и, кроме того, отличают речь простую, разговорную и особенно народную».

А не то ли же самое, беспардонное и мнимоученое, чисто административное вмешательство в язык русского народа осуществилось ныне у нас, когда в обязательном порядке все мы с недавнего времени должны писать: «фельдшеры... корректоры... и т. д. и т. д. Насильственно, вопреки народу, вопреки суждению авторитетнейших русских языковедов, зачем-то восстановлено ветхое, угасшее употребление этих слов. Зачем это попятное движение?!. Уж в крайнем случае, скажите, что дозволены обе формы. Ведь та форма, которая ныне запрещена, она, во-первых, народна, она есть дальнейший шаг в демократизации языка (так именно и оценивает ее, в частности, академик В. В. Виноградов в своей статье «Русский язык», помещенной в Большой Советской Энциклопедии). Наконец, признавали ее народной, побеждающей такие лингвисты, как Буслаев, Шахматов, Бодуэн де Куртэне. Что же случилось, откуда такая напасть?!

Кажется, вопрос ясен. Великие и выдающиеся языковеды были на стороне народного употребления, то есть форм на *а, я*.

Кстати сказать, в отношении имен существительных иностранного происхождения, имен, означавших *деятеля, лицо,* существовало одно мудрое практическое правило; его легко было запомнить, оно почти не знало исключения и следовало ходу народной

орфоэпии. Вот это правило: если такое слово пришло к нам *с ударением на последнем слоге* (офице́р, инженѐр, майо́р), то в именительном падеже множественного числа будет окончание *ы,* а ударение остается на *прежнем слоге:* офице́ры, инженѐры, майо́ры. Если же — не на последнем слоге, как, например, в словах: профе́ссор, дѝктор, слѐсарь, ре́ктор, коррѐктор и т. д., то в именительном падеже множественного должно писать и произносить с окончанием *а*: профессора́, доктора̀, слесаря́, ректора́, корректора́ и т. д.

Не правда ли, просто и хорошо!

Тот же В. Чернышев решительно осуждает «педантическую стилистику». «Нередко педантическая стилистика имеет притязание предписывать правила языку вместо того, чтобы изучать его законы... Этим нередко грешили у нас иностранцы, пишущие русские грамматики, например Греч...»

* * *

Я уже заикнулся, что так называемые народные рассказы Льва Толстого, такие, как «Чем люди живы», «Свечка», «Два старика», «Много ли человеку земли нужно», «Кавказский пленник» и другие, — они в языковом отношении также «неиссякаемый источник русизмов».

Прежде всего я отметил бы какое-то безудержное пристрастие к *глаголам,* во всей их народной, устноречевой многовидности и надвременности, да еще и при постоянных повторах. Какого гонителя повторов не приведет в бешенство хотя бы такой отрывок: *«Было* это дело при господах. Всякие *были* господа. *Были* такие, что смертный час и Бога поминали и жалели людей, а *были* собаки, не тем *будь* помянуты. Но хуже *не было* начальников, как из крепостных: как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье *было»* («Свечка»). Здесь глагол «быть» повторен в маленьком отрывке *шесть* раз. Не думает ли кто-либо, что это — «стилистическое неряшество» Толстого?!. А вот образчик из рассказа «Два старика»: *«Почуял* мальчик хлеб, *по-*

*тянулся, ухватил* ломоть обеими ручонками, с носом в ломоть *ушел. Вылезла* из-за печки еще девочка, *уставилась* на хлеб» (подчеркиваю глаголы). *«Ждал, ждал, соснул, проснулся,* еще *посидел* — нет товарища. Все глаза *проглядел.* Уж солнце за дерево *зашло* — нет Елисея. — Уж не *прошел* ли, *думает,* мимо меня, или не *проехал* ли *(подвез кто),* не *приметил* меня, пока я *спал.* Да нельзя же не *видать* ему. В степи далеко видно. *Пойти* назад, *думает,* а он вперед *уйдет...»*

Разве не ясно, что Толстой намеренно умножает глаголы? А ведь еще не столь давно доморощенные стилисты провозглашали у нас вымученную догму изжития глаголов!

В этом отрывке я хотел бы, попутно, остановить внимание читателя на подлинно *русском* строении так называемой «несобственно-прямой речи»: «Уж не прошел ли, *думает,* мимо меня... Пойти назад, *думает*, а он вперед уйдет». «Несобственно-прямая речь» — это когда автор как бы передает внутреннюю речь своих героев. Дело большой стилистической тонкости! Русская, народная манера — *никогда не затягивать слишком* эту внутреннюю речь героя. Знать меру! Наш родной прием — вводные частицы, *«мол», «дескать», «де»;* а после них, с разгону, так сказать, можно дать несколько прямых, собственных мыслей героя. Применяются речения: «думает», «смотрит» (например, «Смотрит: ах, ты такой-сякой, да разве я *это* тебе велел?!. Ну, погоди ж ты!..») Но, боже сохрани, затягивать эту прямую внутреннюю речь героя на многие и многие страницы! Когда я читаю этакое, я уже ясно вижу, что человек начитался иностранных романов и усвоил «французскую манеру». Для русской речи свойственны еще и такие приемы: «Подходит ко мне: «Дай прикурить!» Ишь ты: ночью да прикурить просишь! Не на таковского напал!» (Рассказ о нападении бандита на прохожего.) Как видите, здесь прямо, без всяких пояснительных слов «говорит», «а я подумал», рассказчик прибегает к прямой речи...

Но, повторяю, во всех таких случаях русский

язык соблюдает строгое чувство меры. «Проснулся, чего не приснится, думает» («Много ли человеку земли нужно»).

Об этом довольно. Однако при всей полноте в перечне признаков народности русского языка у Толстого нельзя не упомянуть о так называемых безличных оборотах. Их много. Они изумительны. «Стой! *Затопало* копытами по дороге. Остановились, слушают. *Потопало,* как лошадь, и *остановилось.* Тронулись они — опять *затопало... Фыркнуло* — слышит. Что за чудо! Свистнул Жилин потихоньку, — как *шаркнет* с дороги в лес, и *затрещало* по лесу, точно буря летит, сучья ломает» («Кавказский пленник»).

Мне скажут: «Да! Все это чудесно. Вашей «русскости», народности здесь немало. Но ведь «Анну Каренину» и «Войну и мир» этаким языком все же и Толстой не напишет!..» Что правда — то правда! Но и «Кавказского пленника» и «Чем люди живы» языком «Анны Карениной» тоже не напишешь!..

Моим ответом на предъявляемый мне часто такой вопрос пусть явится пушкинское понимание *состава* русского языка. Пушкин именует язык наш «славяно-русским». «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива», — говорит он. В чем же счастливость этой судьбы? А именно в том, по мнению Пушкина, что «стихия» нашего языка образовалась от навеки неразрывного слияния речи книжной («славенской») с «простонародным наречием»: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились; и *такова стихия, данная нам* для сообщения наших мыслей». Весьма и весьма существенно, что здесь приведенные суждения Пушкина содержатся как раз в той же статье о переводе на французский язык басен Крылова.

И, однако, никак нельзя забывать, что в *допушкинский* период было время, когда язык образован-

ной верхушки слагался по образцу французского, а изучался по немецким руководствам. И не вдруг-то этот чужеродный след исчезает! Отдельные лишь великаны художественного слова ломали кастовые перегородки в языке. Эта ломка и посейчас встречает мнимоученое сопротивление последышей мадам Курдюковой, помещицы-космополитки, воспетой в сатире Мятлева.

Словарь нашей печати буквально захлестывается ненужной, преизбыточной, непереваренной иностранщиной. Завет Ленина об очистке русского языка забыт. Так называемый «ушаковский» словарь предлагает образованному русскому человеку ограничиться восемьюдесятью пятью тысячами русских слов. И даже того меньше, ибо и в этом оскудненном словаре многие слова снабжены пометами, означающими, что данное слово «не рекомендуется к литературному употреблению». А вот словарь иностранных слов, якобы уже принятых нашей речью, содержит... сто тысяч слов!

Но об этом разговор особый! Здесь же хочется напомнить читателю о замечательных трудах декабриста Павла Ивановича Пестеля, направленных на изжитие ненужной иностранщины, которую, как вы знаете, усиленно насаждал Николай Первый, с его «ордонанс-хаузами», «экзерциц-плацами», «шпицрутенами» и «экзекуциями». Творец «Русской Правды», поистине гениальный Пестель охватил даже и эту, чисто языковую область, применительно к будущему государственному устройству и строительству вооруженных сил будущей Российской республики. Все государственные учреждения, от высших до низших, все военные чины и должности были обозначены Пестелем по-русски. И можно не сомневаться, что, победи декабристы на какой бы то ни было срок и учредись «Народное вече» и «Временное Верховное Правление», и эта часть их великих замыслов осуществилась бы. Из огромного списка русских терминов, данных Пестелем, многие ныне, почти через полтора века, покажутся нам наивными. Но кое-что прижилось и многое заслуживает внимания. Так

«Русская Правда» декабристов уничтожала слова: «провинция» и «губерния» и вводила вместо них: «область» и «округ».

* * *

Кого не приведет в уныние вялый, нерусский речестрой и скудный словарь рассказа, повести или романа! Такие книги, в лучшем случае, листают, охватывая одним взглядом сразу все сюжетные повороты на десятках страниц. Но ведь советский писатель — это не поставщик «чтива»! У многих такая беда — от ранней грамотности и еще отроческой начитанности в дурного сложения «беллетристике».

Хорошо, если человек, пусть в меру своих сил, учился писать у Крылова, у Толстого, но если его учителями в художественном слове стали, по неведению его и в силу несчастных обстоятельств жизни, Шеллер-Михайлов, Авсеенко, Светлов (Александр) или даже Боборыкин, — добра не жди: гладкопись, «нуль русизмов»! Из только что названных мною Боборыкин был еще лучше других, однако вот образчики его «русскости» из лучшего романа «Китай-Город»: «В теле он считал ее гораздо рыхлее и болезненнее, скептически относился к ее бюсту». Пишут и ныне так, бывает!..

Вот второй пример: «За чистотой блюла сама Марфа Николаевна, а Любаша, напротив, оставляла везде следы своей непорядочности».

А тут еще захлестывает *неудержимый* поток иностранной беллетристики, поток подчас мутный и нередко в отвратительных переводах. Тут уж не до «русскости» языка! Даже и у талантливых беллетристов их речестрой да и все приемы рассказывания зачастую буквально неотличимы от переводной французской беллетристики. Вот, подите отличите — кто русский писатель, а кто французский: несколько отрывков для сопоставления. Назовем их римскими цифрами — I и II.

I. «Было около половины восьмого. Улицу пересекала пара: Мари-Адель де Бреа и ее супруг. Оба

майоры встали им навстречу. Капитан де Бреа был еще в штатском. Видный мужчина».

II. «Поднялся ветер. Моросило. Андре вспомнил глаза Жаннет — какая необычная женщина».

«...Она ему поверила и, выслушав его признания, отдалась ему если не с любовью, то с душевной приподнятостью...»

I. «Он дико посмотрел на нее. Как можно задавать такие вопросы, когда не сегодня-завтра война! Легкомысленная Ивонна! Она достала свои пузырьки, стала мазать ногти лаком. Ивонна, разумеется, заметила, что дело тут не только в войне, но Жан и сам этого не понимал».

II. «Он понял, что значит «сгорать от стыда». Да, его прошлое постыдно! Как мог он говорить этому бездушному человеку? Не трудно догадаться, о чем Братейль беседует с Пикаром: хотят поставить Францию на колени. Мстят за тридцать шестой. Уведут войска в Сирию, в Финляндию, все равно куда... И впустят Гитлера».

Я мог бы продолжать эти сопоставления сколько угодно: и опытнейший стилист не отличит, кто — кто. Разницы столько же, сколько в составе воды, зачерпнутой одновременно и в правую и в левую горсть!

Переводная калька!..

Мне скажут: но разве это не закономерно, такое сходство, если оба — и русский и французский писатель — говорят о Франции, о Париже? Стоит ли такое сходство осуждать? На это я ответил бы только ссылкой на маленький бунинский рассказ, который так и называется «В Париже»: он овеет вас и Францией и Парижем, но не стал же Бунин воспроизводить в своем писательском языке французский склад речи (все эти манерные для русского читателя восклицания: «Легкомысленная Ивонна!..», «Видный мужчина») и перенимать весь ритмико-мелодический рисунок, все синтагмическое членение прозы французского автора.

Большевик Гусев в «Аэлите» Толстого — он и на Марсе русский!

«Гиперболоид инженера Гарина» не только голым сюжетом забирает читателя, а и языку радуешься!..

Пиши о чем хочешь: о полетах на Луну, на Марс и даже на туманность Андромеды, о диверсантах и о работе уголовного розыска, только не чурайся русского языка!

...В заключение мне опять вспоминаются замечательные слова Яна Неруды:

«Одевались мы в какую-то поэтическую мировую униформу, и, однако, в великую поэтическую армию, в мировую поэзию, были приняты только те, кто пришел в своем собственном одеянии, вернее сказать, *в народном!*»



## ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ЧИТАЕМ ПЕРВУЮ СТРОФУ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»?

Вспомним первую строфу гениального романа:

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

Не казалось ли вам, что есть какая-то смутность смысла в первых строках: почему, в самом деле, дядя Онегина заставил себя уважать лишь тогда, «когда не в шутку занемог»? Да и какое же тут уважение, если юный повеса, «наследник всех своих родных», уже заранее готовится притворяться у постели больного дяди, вздыхать, изображать печаль на своем лице, в то время как в мыслях у него будет совсем иное: «когда же черт возьмет тебя!» Ему ведь

хочется, чтобы богатый дядюшка помер поскорее и оставил ему все наследство. С такой-то тайной и неблаговидной надеждой и скачет юноша «в пыли на почтовых» в имение дяди. При чем же здесь «уважение»? Но его, оказывается, и не думал приписывать своему герою Пушкин! Как раз наоборот: намерением поэта было показать, что мысли Онегина полны цинической издевкой над богатым дядюшкой. Их можно передать в таком виде: «Дядюшка мой достоин будет называться человеком самых честных правил, *если* только он заболел по-настоящему, если помрет и оставит мне наследство». Это — цинизм молодого повесы-аристократа. Евгений в мыслях своих «острит» по случаю болезни дяди своего.

Дело в том, что во времена Пушкина слово «когда» чрезвычайно часто применялось в смысле *условном,* а не временно́м; «когда» означало «коли», «если», «ежели».

Справка из словаря Даля: «Когда... Союз: *коли, если, буде...»* В живой речи такое условное, а не временно́е значение за словом «когда» и по сие время остается: «Ну уж садись, когда пришел». Или: «Что я с тобой буду делать, когда ты такой сорванец» и т. д. и т. д.

Если мы вернем слову «когда» его истинный смысл здесь: «если, коли, ежели», то вся первая строфа по-настоящему осмысливается. Не зря Пушкин предпослал роману эпиграф, где говорится о человеке, способном признавать с одинаковым равнодушием как свои добрые, так и *дурные* поступки. А это и есть цинизм.

Итак: «Мой дядя самых честных правил, *коли* не в шутку занемог»! — вот какая циническая похвала заболевшему дядюшке скрыта в этих мыслях Евгения. Если, дескать, ты не обманешь меня и вызвал не напрасно, оставишь мне наследство, — то в этом случае ты достоин всяческого уважения, ты — «джентльмен».

Таким образом, через возврат слову «когда» его истинного здесь значения сразу, с первых же строк, перед нами очерчивается нравственный облик моло-

дого великосветского повесы, «денди», который даже как бы гордится, щеголяет своим цинизмом.

Такое толкование этого места становится еще более несомненным, если рассмотрим черновой вариант первого четверостишия «Евгения Онегина». Этот черновик, писанный рукою самого Пушкина, мне довелось видеть в «Пушкинском Доме»:

Мой дядя самых честных правил
Он лучше выдумать не мог
Он уважать себя заставил
Когда не в шутку занемог.

Если считаться со смыслом, который хотел вложить Пушкин в первое четверостишие, то скорее всего знаки препинания должны в нем быть такие:

Мой дядя — самых честных правил,
Когда не в шутку занемог;
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог!..

Точка с запятой после слова «занемог» (а может быть, даже и точка) сразу бы раскрыли, в каком значении применил здесь Пушкин слово «когда», и, читая первую строфу, мы придавали бы ей должную интонацию. В противном случае получится неизбежно невразумительная скороговорка. Послушайте только, как декламируют школьники эту первую строфу!

Предполагаемая мною поправка, мне кажется, имеет значение для изучения Пушкина в школах.

Но мало этого! Ведь если переводчики Пушкина, на какой бы язык они ни переводили, не понимают, что в первой строфе слово «когда» означает: «если, коли, ежели», — то и верного перевода этой строфы они дать не могут.

## ИСКРЫ ИСТИНЫ

В ТЕЧЕНИЕ многих лет я изучал памятники русского эпоса, и устного и письменного, от былин до «Слова о полку Игореве». Занимался и древнерусскими летописями. И надо прямо сказать: труды русских ученых здесь поистине беспримерны. Они внушают чувство благоговейное. Однако есть и «огрехи» в этой всем нам дорогой области. Речь у меня и пойдет о некоторых неверных прочтениях и толкованиях в отдельных памятниках русского эпоса. Ошибиться может каждый. Но когда ошибся авторитет, то ошибка закрепляется, передается по наследству. А между тем некритическое отношение к традиционному прочтению и толкованию наносит вред науке.

Но прежде несколько слов о вероятнейших причинах, которыми порождались и порождаются ошибки.

Во-первых, это — пренебрежение к произошедшему за века (или за многие десятилетия) сдвигу значения русских слов, их семантики. Во-вторых, невнимание к особым грамматическим оборотам древнерусского языка, которые ныне, в современном языке, вымерли. В-третьих, наконец, забвение некоторых слов, бытующих в так называемом просторечии.

А застойность ошибок, проистекающих от всех этих трех причин, обусловлена традицией, боязнью ломки привычного.

### 1

Иной раз перевод с древнерусского на современный русский язык таит для переводчиков опасностей больше, чем перевод с немецкого или английского. Это не парадокс. При переводе с чужестранного языка переводчик, как правило, очень насторожен, тща-

телен. Он кропотливо выверяет семантику каждого слова, он считается и с первым и с прочими значениями чужестранного слова. Не то при переводе с древнерусского. Помилуйте! Язык-то ведь наш, родной, и так все понятно, чего тут мудрить! Этим, кстати сказать, объясняется то легкомыслие, с которым многие, даже и не знающие ни словаря, ни грамматики древнерусского языка, берутся за перевод «Слова о полку Игореве». Зато нигде нет такого количества неверных прочтений, как здесь. И печальнее всего, что ложные прочтения в «Слове» и до сих пор удерживаются. Но об этом далее. А сейчас приведем несколько слов и речений древнерусского и старославянского языка, из которых и неспециалисту будет ясно, сколь обманчивой может оказаться «понятность» древнерусского текста.

Слово «озлобить» означало: причинить кому-либо зло, «оскорбить» — сделать кого-либо скорбным. «Развратник» нередко означало: еретик, мятежник, отступник, а вовсе не распутник. Выражение «Праведное, праведное гоните!» совсем не означало, что надлежит враждебно преследовать, гнать праведное, а, напротив, это место переводится так: «Праведное, праведное ищите!» Слово «вещь» нередко в старославянских текстах, например в Библии, переводится, как «слово». След этого остался и по сие время в нашем языке в слове «вещать», то есть говорить. Примеров этого сдвига значения слов за столетия можно привести сколько угодно.

Иногда встречаешь ошибки удивительные, прямо-таки необъяснимые в таких ученых трудах по древнерусскому языку, которые и призваны-то к жизни именно необходимостью уберечь от ошибок и всех и каждого, кто трудится над летописями и вообще древнерусскими памятниками. Я говорю об изданном в 1937 году Академией наук СССР (Институт истории) труде профессора Г. Е. Кочина «Материалы для терминологического словаря древней России». Там на странице 31-й составитель комментирует следующий текст летописи: «И поидоша полкы половецкые яко *борове*». Это выражение ничего другого не

может означать в переводе, как: «И пошли полки половецкие, как боры». Ибо *«борове»* есть именительный падеж множественного числа от слова «бор». «И мнози *борове* възгарахуся сами и болота», — сказано в «Повести временных лет» под 1092 годом. Означает это, вне всяких сомнений, только одно: «И многие боры загорались сами и болота» (была засуха, бездождие). В русских летописях вражеские бессчетные полки очень часто уподобляются борам, то есть хвойным лесам. Это общее эпическое место, это поэтическая идиома, застывшая метафора, и, надо признать, неплохая. Вот еще пример этому. «Иноплеменницы собраша полки... и выступиша *яко борове велиции»* (Ипатьевская летопись, под 1111 годом), то есть иноплеменные полки были столь многочисленны, что уподобляются не просто бору, а бору большому. Или еще: «Поидоша полкове аки боро̀ве, и не бе презрети их» (Повесть временных лет, под 1103 годом); на современном русском языке это опять-таки означает: «Пошли полки, как боры́, и нельзя было обозреть их!» Иного перевода не может и быть.

Что же делает лексикограф, переводя эти тексты? «Борове» осмысляет как... *бо̀ровы, свиньи. «Боров* — ср. свинья. И поидоша полкы половецкие яко *борове»,* — пишет профессор Кочин. Можно спросить лексикографа: неужели он думает, что в другом летописном тексте, где «сами возгорались» многие «борове» и «болота», речь идет о том, что загорались наряду с болотами свиньи, боровы?!

В этом же «Терминологическом словаре» есть не менее явная и досадная ошибка, следствие непрочтения. Существовало в древнерусском языке слово «рай», означавшее сад, цветник. Именно в этом значении большое количество текстов со словом «рай» приводит академик И. И. Срезневский в своих «Материалах для словаря древнерусского языка» (т. III, «Рай»). Например: «сотворих вертограды и *рая* и насадих в них древеса...»; «зане и врач не егда по *раем* и по цветом водит стражающая...»; или: «всяческих древес насадив плодовитых... яко подобно гус-

тых лес, *рай* нарече»... и т. д. и т. д. Однако в словаре профессора Кочина мы нигде не нашли слова «рай», зато на странице 312-й нашли диковинное слово «саморай», которого он и сам не смог перевести и ставит под вопросом. А между тем нет сомнения, что в тексте, который дал лексикографу «основание» выделить такое слово, оно получилось из слияния двух слов: *самъ* и «рай». Вот неиспорченный и вполне осмысленный текст, где эти два слова уясняются. Речь идет о том, что *сам* Юрий Долгорукий называл *«раем»* свой двор за Днепром. В Ипатьевской летописи мы читаем под 1158 годом, как восставшие киевляне после смерти князя разграбили его загородный дворец: «Разграбиша двор его красный и другый двор его за Днепром разграбиша, его же звашеть *самъ раемъ*».

Кажется, все ясно: «который называл сам раем». Профессор же Кочин предпочел извлечь слово «саморай» из этого же самого текста, но только в явно испорченном виде. Древние памятники писались нередко без разделения слов; это обстоятельство порождало впоследствии многие неверные прочтения: переводчики то неверно членили текст, то неверно сливали два слова в одно. Понятно, как при соответствии полугласного «ера» (ъ) звуку «о» получилось «самораем» вместо «сам раем». Повторяю, ошибка усугубляется тем, что профессор Кочин нигде не дал в своем словаре слова «рай», которое подлинно являлось земледельческим термином древней Руси, а вот «саморай», на который, за исключением испорченного, нет у него ни одного летописного текста, вносит в словарь древнерусских терминов!..

## 2

Перейдем к примеру искажения памятника устного эпоса благодаря непрочтению. Причиной же этого непрочтения, как мне кажется, является забвение народного словаря. Речь пойдет не о какой-нибудь, а о самой, так сказать, заглавной былине — «Вольга и Мику́ла». Заглавной я назвал ее потому что, как

нигде, в этой былине выражено истинное могущество трудового народа, его превосходство над князьями с их дружиною. Пахарь-крестьянин выходит здесь победителем из состязания с князем Вольгою, который к тому же еще обладает всеми колдовскими мудростями.

Обессмысливанию подвергалось одно из прекрасных мест былины: пропало двойное сопоставление, параллелизм состязавшихся всадников: пахаря («ратая») и князя. И эта порча утвердилась уже около ста лет, от первых записей былины.

Вы помните это состязание конями, где дважды сопоставляется быстрота крестьянской кобылки с быстротой княжеского коня и где оба раза превосходство оказывается за крестьянской лошадкой?

Первое сопоставление:

А у ратая кобылка, она рысью идет,
А Вольгин-то конь да поскакивает...

Второе сопоставление:

А у ратая кобылка, она *грудью(?)* пошла,
Там Вольгин-то конь *остается* *.

Не вызывает недоумений первое сравнение: когда кобылка Микулы пошла рысью, то княжескому коню приходится туго — ему уж надо скакать. А вот что означает *«грудью пошла»?* И почему в ответ на эту «грудь» княжеский конь должен уже отстать?! Смысла в этом втором сопоставлении никакого! Между тем здесь вместо «грудью» надлежит читать «груньюу». Ибо, как гласит словарь Даля, «грунь... — тихая конская рысь, малая рысь, побежка между *ходою и полной рысью»*. Это старинное народное слово известно и кавалеристам, это их термин. Толковый словарь Даля приводит это слово в таких речениях: «*Грунью* пòля (лета, века) не избегаешь. Сотня пошла на *грунях. Грунить* — ехать рысцой, слегка рысить. *Грунистая* лошадь, ходкая мелкой рысью. *Иди грунистей!* — прибавь груни, рыси». Стоит принять это ис-

---

* «Былины». М., Гослитиздат, 1954, стр. 7.

правление — и все это место получает истинный смысл. Параллелизм восстановлен!

Вряд ли требуется умножать доказательства. Однако, считаясь с тем, что фольклористы находили какой-то смысл в этом «грудью», придется привести еще некоторые доводы. В русском языке существует, кроме слова «грунь», еще и слово «ступь». И это также *ездовой термин*. Даль поясняет: «ступь» — самая тихая походка... Ехать *ступью,* шажком... «А сибирское «ступь» — хода́, самый шибкий шаг». Итак, мы имеем две степени быстроты, две ходы лошадиные: самая тихая — это «ступь», а чуть быстрее — *«грунь»*. И представьте себе, что в другой записи былины «Вольга и Микула», также сделанной Гильфердингом, мы находим слово «ступью».

У оратая кобылка *ступью* пошла,
А Вольгин конь да ведь поскакивает...

Чудесно! Дальше ожидаешь от кобылки перехода на «грунь», и тогда понятно, что княжеский конь отстанет и вовсе, но... и в этой записи снова мы видим все ту же нелепую «грудь»:

У оратая кобылка *грудью* пошла,
А Вольгин конь да оставается *.

Любопытно, что Л. Н. Толстой в своей «Русской книге для чтения» исключает слово «грудью» начисто. Однако есть у него слово «ходой», а «груни» тоже нет. Мне кажется, что Толстой признал «грудью» бессмыслицей, а слово «грунь» не захотел ввести, как редкое неупотребительное и школьникам непонятное. Но ведь «грунь» — это одна из разновидностей «ходы». У Толстого так:

Мужикова кобылка ходой идет,
А Вольгин-то конь уж поскакивает;
Мужикова кобылка рысцой пошла,
А Вольгин-от уж конь оставаться стал...

---

* «Устное поэтическое творчество русского народа». Хрестоматия. Составили С. И. Василенок и В. М. Седельников. Издательство МГУ, 1954.

Во всяком случае, здесь бессмыслицы «грудью» нет. И параллелизм сохранен, последовательный, «двухстепенный».

Мне скажут: но так, дескать, записал Гильфердинг. Возможно. Но, во-первых, не надо в художественном эпическом произведении русского народа жертвовать смыслом, а следовательно, и поэзией, ради точной фонетической записи. Что за фетишизм! Отметьте в специальных сборниках, что сказители говорят «грудью», а для школ, для массового читателя исправляйте на «груньо», поясняя, что̀ это означает.

Беда в том, что специалисты фольклора как-то даже ухитряются осмыслить это ничего не значащее «грудью». Так, например, В. Я. Пропп в своей книге «Русский героический эпос» * специально комментирует данную строфу былины и все-таки не замечает нелепости слова «грудью», не видит порчи параллелизма.

3

Я упомянул, что непрочтение некоторых грамматических оборотов древнерусского языка также порождает ложные переводы на современный язык. Особенно «посчастливилось» в этом смысле «Слову о полку Игореве». Стоит привести здесь один-два разительных примера.

Был в древнерусском языке так называемый родительный *беспредложный* при глаголах, означающих движение, например: «бежать кого» вместо «от кого». Он уцелел еще и у Пушкина: «Зачем бежала своенравно Она семейственных оков» (Мария в «Полтаве»). Предлог «от» здесь Пушкиным отброшен. Вспомним песню «Среди долины ровныя», написанную в начале XIX века Мерзляковым. Там есть такие слова: «Одних я сам чуждаюся, другой *бежит меня* (нынче мы говорим с предлогом «от»: «бежит от меня»). Древнерусское назидательное речение *«зла*

---

* В. Я. Пропп, Русский героический эпос. Издание ЛГУ, 1955.

подвизайся» есть также пример такого родительного беспредложного при глаголах движения, и каждый сведущий в древнерусской грамматике переведет единственно так: «от зла беги, удаляйся», ибо «подвизатися чего-либо» или «подвижитися чего-либо» означает удаляться от чего-либо, устремляться прочь от чего-либо.

Но, странное дело, фразу «зла подвизайся» почти каждый переведет правильно: «зла беги, от зла беги». Но вот уже 150 лет совершенно аналогичная конструкция: «вежи себя подвигли» (подвизашася), что означает: *«от вежи* половецкой *отдалились* или *устремились прочь»* (беглецы во главе с Игорем), — 150 лет эта фраза переводится неверно. Переводчики и комментаторы упорно отказываются видеть, что слово «вежи» здесь являет нам замечательный образчик *родительного беспредложного при глаголах движения.* Они думают, что «вежи» это есть подлежащее во множественном числе от слова «вежа», то есть шатер, кибитка. А на самом деле «вежи» есть дополнение, а подлежащее здесь — *беглецы во главе с Игорем* — логическое, подразумеваемое подлежащее!

Итак, «вежи ся половецкия подвизашася» надлежит переводить только так: *«от вежи половецкой отдалились»,* или: *«устремились прочь, отбежали».* Такой перевод находится в полном согласии с летописным рассказом о бегстве Игоря из половецкого плена. Известно, что за Игорем половцы присматривали. Но вот князь поддался на уговоры Овлура, полурусского-полуполовца: мать Овлура была русская. Они условились бежать ночью. Овлур ждал князя за рекою Тором, держа наготове коней. Половцы «напились бяхуть кумыса» и заснули. Игорю был подан сигнал к бегству. Он с великой осторожностью поднял полу своей вежи (шатра, кибитки) и «лезе вон», то есть вышел. Само собой очевидно, что князь через весь половецкий стан шел не один, а в сопровождении своих помощников и сообщников из свиты: трудно предположить, чтобы Игорь сам, один решился пройти через лагерь и перейти речку Тор. И вот естественно, что беглецы сперва *отдалились от вежи,*

*устремились от нее прочь.* И уж только потом, за рекою Тором, где Овлур ждал с конями, Игорь сел на коня, как про то и говорится в «Слове».

Против такого перевода один из комментаторов «Слова» смог выставить лишь единственное возражение: если бы, возражал он, подлежащее было беглецы, то глагол-сказуемое стоял бы не во множественном числе, а в двойственном, ибо беглецов-то было двое: Игорь и Овлур. Стало быть, в «Слове» мы имели бы, дескать, «подвизостася» (двойственное), а не «подвизашася» или «подвизошася» (множественное).

Возражение противоречит историко-лингвистическим фактам: как раз древнерусским памятникам XII—XIII веков очень свойственно *смешение двойственного* и *множественного числа.* Об этом у академика Соболевского в его «Истории русского языка» есть даже специальный раздел со множеством примеров сочетания двойственного числа подлежащего со множественным числом глагола-сказуемого. Итак, единственное возражение отпадает. Какие же у нас резоны портить бесценный памятник русской поэзии старым переводом, ложным и несуразным?

В чем же несуразность старого перевода? Судите сами: «Вежи ся половецкии подвизашася» до сих пор переводится так: «Вежи (шатры) половецкие зашатались»; либо «задвигались», или «заколыхались». Не говоря о непрочтении родительного беспредложного при глаголах движения, подобными традиционными переводами «живописуется» шумная картина ночного бегства Игоря. Известно, что Игорь крался, стараясь пройти половецкий стан неслышно: он был «ужасен и трепетен». Ясно, что Овлур свистом своим и, возможно, условным стуком о земь подавал потаенный знак к бегству Игоря. Но смотрите, какой грохот, гром устраивают из этого потаенного бегства наши переводчики: «Кликнул — застучала земля, восшумела трава, вежи половецкие задвигались».

Да как же это половцы не проснулись и тотчас же не схватили Игоря?!

...Так пренебрежение к специфическим оборотам древнерусского языка приводит к неправдоподобному,

«бутафорскому» переводу одного из тончайших мест «Слова» — ночного бегства Игоря из половецкого плена!

## 4

Микроскопическая тщательность с учетом и первого, и второго, и третьего значения, которое могло быть присуще данному древнерусскому слову, учет всего семантического гнезда, памятование всех исчезнувших ныне грамматических оборотов вознаграждаются щедро! Исследователю может выпасть счастье раскрыть через эту неуклонную скрупулезность никем не подозреваемые красоты и даже особый политический смысл того или иного места в древнерусском памятнике, который, казалось бы, изучен вдоль и поперек.

В 1093 году Владимир Мономах, тогда еще молодой князь, вместе с младшим братом своим Ростиславом, весьма юным, ходили на половцев и потерпели поражение. Несчастный исход битвы вынудил их к поспешному отступлению. На пути оказалась речка Стугна. Было самое половодье, и Стугна сильно разлилась. Очевидно, бросившись через нее вплавь, юный Ростислав утонул на глазах старшего брата... И об этом событии устами Игоря вспоминает в своей великой поэме автор «Слова о полку Игореве».

Напомню читателям, при каких обстоятельствах это происходит. Уже спасшийся от погони половцев Игорь воздает радостную хвалу реке Донец. Князь хвалит Донец за то, что он укрывал его, беглеца, от врагов, лелеял его и стерег. И тотчас же, как бы по контрасту, Игорь обрушивается с обвинениями на другую реку, а именно на Стугну, и припоминает ей минувшее злодеяние: то, что она утопила Ростислава. В первом печатном издании 1800 года это порицание реки передано так (следую новой орфографии): «Не тако ли, рече, река Стугна худу струю имея, пожерши чужи ручьи и струги ростре на кусту. Уношу князю Ростиславу затвори Днепрь темне березе. Плачется мати Ростиславе по уноши князя

Ростиславе». Начиная с перевода Майкова, который работал при консультации известного лексикографа И. И. Срезневского, установили обычный перевод фразы «Уношу князю Ростиславу затвори», как: «Юношу князя Ростислава замкнула, поглотила, пожрала, заключила». Некоторое время и я следовал общепринятому переводу этого места. Но вот уже в изданиях «Библиотеки поэта», и в малой и в большой сериях, вышедших в 1953 году, я дал новый перевод и осмысление этой строфы, причем оставил свой перевод без всяких комментариев. Меня стали попрекать «произволом» перевода. Между тем это не только не произвол, а точный перевод, раскрывающий глубокий политический смысл данного места поэмы.

Почему же не удовлетворяли меня старые переводы — «замкнула, поглотила» и т. д.? А вот почему. За скорбным и гневным тоном попрека реке Стугне, утопившей русского князя Ростислава, чудилось мне нечто большее, чем просто порицание за то, что она утопила его. Какой-то особенный смысл сквозит во всем этом, думалось мне. У гениального автора «Слова» ничего нет прямолинейного, плоского. Разве «так просто» противопоставил он поведению реки Стугны поведение Донца?! Ведь в этом сопоставлении двух русских рек, несомненно, скрыт какой-то высокий замысел поэта. И зачем это автор «Слова» устами Игоря особо подчеркивает, что река Стугна «пожрала» не какие-либо, а «чужие» ручьи?!

«Перебрав по косточкам» прежде всего всю семантику слова «затвори», то есть «затворила», я — представьте мою радость! — увидел, что в древнерусском и старославянском языке фраза «затворить» кого-либо имела еще один смысл, который, бесспорно, куда более подходит для истинного осмысления места со Стугной и гибелью Ростислава, а именно — значение «предать». И разом все осветилось! И отсвет этот сам собою озарил и смысл выражения «чужие ручьи».

Итак: «Уношу князю затвори» надо переводить, как «Юношу князя предала». Возьмем два старосла-

вянских текста, где «затворити» дано именно в этом значении. 1. «Благословен Господь Бог твой, иже затвори мужей, воздвигших руки своя на господина моего царя» (Книга Царств II, гл. 18, стих 28). А вот этот же текст в синодальном переводе: «благословен Господь твой, предавший людей...» и т. д. 2. «И затвори во оружии люди своя и достояние свое презре» (Псалом 77, стих 62). И опять-таки в параллельном тексте перевод мы видим такой: «Предал мечу народ свой...» и т. д. Наконец, в древнерусском памятнике «Хождение по мукам» сказано, что на первом месте в аду будет мучаться тот, кто «предал Христа», а на втором — «кто суседа (то есть ближнего) своего затворил». То есть опять слово «затворил» дано как синоним слова «предал».

Но, однако, ведь сказано, что река Стугна «затворила» ему, а не его, что же сие значит? Этот необычный оборот вызвал целый ряд неверных и наивных переводов данного места в «Слове». Некоторые переводчики решили, что здесь «ему» есть обычный, нынешний дательный падеж, как, например, «он ему открыл дверь», и переводят так, что «река Стугна затворила князю Ростиславу Днепр», одна река затворила другую! На самом же деле здесь особый древнерусский оборот, ныне исчезнувший: «дательный вместо винительного». Вот например: «Аще же аз возмогу одолети ему» (Царств 1, гл. 17). Или: «вси похвалиша ему» вместо: одолеть его, похвалить его. Целый ряд глаголов в древнерусском языке требовал после себя дополнения в дательном падеже вместо обычного винительного. Так было и с глаголом «затворити».

Я сказал, что сделалось понятным, после верного прочтения «затворила» как «предала», почему Игорь попрекает Стугну чужими ручьями. Достаточно вспомнить здесь указание исторической географии: река Стугна в XI—XII веках была пограничной рекой. Один берег ее был захвачен половецкими ордами, а другой был владением киевских князей. И вот, когда началось половодье, то река Стугна приняла в себя чужие, вражеские ручьи, потоки с половецкого берега, она

как бы стала «чуждой по крови». Поэтому-то она и предала русского князя!

Река, обвиняемая в государственной измене... А ей противопоставлен Донец. Вот какую огромную по смыслу метафору дает нам великий поэт в своем противопоставлении двух рек!

...Помню, я с давних пор хотел посмотреть, какая она, эта река Стугна, в которой утонул юноша Ростислав. И вот во время состоявшегося в Киеве Всесоюзного съезда по восточнославянскому эпосу я отправился в пешее путешествие по Стугне. Был конец июня. Стугна была не шире нашей подмосковной Сетуни, ее можно было в некоторых местах попросту перешагнуть. «Трудновато здесь утонуть! — подумалось мне. — Очевидно, в XI веке она была куда полноводнее!» Я высказал эти свои сомнения украинским колхозникам, которые с большой и сочувственной любознательностью слушали рассказ о событиях и лицах, воспетых в «Слове». Надо сказать, что любовь украинского колхозника к родной истории, к ее поэтическим памятникам воистину заслуживает глубокого уважения! Тогда, сопровождая меня по Стугне, они заставили прочесть им «Слово о полку Игореве» и в подлиннике и в переводе. И не только слушали мои комментарии, но комментировали «Слово» и сами. Так вот, когда я, вспомнив о гибели Ростислава в их Стугне, сказал, что уж больно «тоща» эта речушка, то один из колхозников возразил мне:

— А вы сюда приезжайте-ка в разлив, тогда она вон до того ветряка разольется, — тут не то, что ваш Ростислав, а целый полк утонет!.. — Он показал при этом ясно видимые грани половодья на берегу.

Этот разговор происходил возле хутора Ганны Винниченко, на берегу Стугны. Я хотел пройти еще дальше, сколько успею засветло. И тогда спутники мои сказали:

— Пройдете до Малой Салтановки, а до Большой Салтановки вам далеко будет!..

При этих словах мне так и вспомнилось из дифирамба Ярославу Осмомыслу: «Стреляеши с отня злата

стола салтаны за землями!..» Так вот они где кочевали, салтаны-то половецкие!..

Другой «дядько»—типичный запорожец: седые усы опущены долу, подбородок обрит, — долго молчавший, сказал (жалею, что не могу здесь передать его слово во всей прелести его родной украинской речи!):

— Видно, где-то здесь утонул несчастный тот Ростислав, коли он от половцев утекал: там вон Великие Половцы — районный центр, а там, глядите, Малые Половцы!

И мне еще яснее стало, что именно скорбный попрек русской реке, разбухшей от «чужих», половецких, вод, а потому и предавшей своего, русского, князя, заключен в сопоставлении Донца и Стугны...

Перейдем к заключительному примеру.

Речь пойдет о пресловутом «призвании варягов». Мы не станем касаться самого этого явно измышленного происшествия. Марксистская историография смотрит на эту легенду как на общее место, свойственное сказаниям почти всех народов. Каждое государство, оказывается, основано было непременно братьями, либо двумя, либо тремя! Рим основали братья Ромул и Рем. Английское государство — братья Гангист и Горза, причем им были, по преданию, сказаны те же самые слова, что якобы сказали новгородцы братьям варягам. Польское государство — тоже братья (Попел и Пяст). Киев основан тоже тремя братьями (Кий, Щек и Хорив). И вот, наконец, как некое зеркальное отражение этих трех братьев, маячат и на севере Руси тоже три брата: Рюрик, Синеус и Трувор...

Словом, заимствование «сюжета» летописцем несомненно. Политический расчет князя — «заказчика» летописи тоже понятен: в середине века у всех князей, герцогов и царей была «мода» производить своих предков «из-за моря» и непременно от римского кесаря Августа...

Но если и можно не считаться всерьез с этой разоблаченной легендой о трех братьях варягах, то надо рассеять и тот след в языке нашем, в житейских афоризмах, поговорках, который оставлен ею. Я го-

ворю о привычном «присловьи»: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Именно так будто бы и сказали «трем братьям» новгородские старейшины, призывая их княжить. Независимо от сомнительности самого факта призвания варягов все-таки летописец якобы счел возможным сказать, что у нашего народа порядка не было, а следовательно, народ наш жил в «беспорядке», в хаосе, в неурядице.

И здесь невольно возникает вопрос: а как же могла быть великой и обильной земля, в которой царил хаос, беспорядок?!

К счастью, это застоявшееся искажение истории трех братских народов произошло всего-навсего от неверного, хотя и традиционного, прочтения летописного текста. В подлиннике нигде даже и нет слова «порядок». А есть слово «наряд». Но это слово означало совсем иное, чем порядок. Вот в чем суть! «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет», — такова буквально летописная запись под 862 годом.

Что же означало в древней Руси слово «наряд»? Вот Владимир Мономах говорит, что он «ловчий наряд сам есмь держал». Вот под 1173 годом в Ипатьевском списке летописи сказано, что некий воевода Борис Жидиславич «наряд весь держал». В «Софийском Временнике» под 1532 годом говорится: «а нарядчик был Дмитрий Сырков».

И нигде, решительно нигде мы не встречаем в летописи слово «наряд» как порядок, то есть стройное государственное управление, противоположное беспорядку, хаосу, развалу.

«Наряд» обозначало совокупность администрации. А во-вторых, распоряжения, опять-таки в их совокупности.

Известно, что Новгород писал «ряд» то с одним, то с другим князем, строго ограничивая его функции. Князь для Новгорода, откуда бы он ни «призывался», был, по сути, наемным воеводой, иногда судьей. А если обнаруживал поползновения стать узурпатором, то князя изгоняли: «Ты, князь, собе, а мы — собе! И показаша ему путь от себя». На место изгнанного при-

глашали себе другого, и тот приезжал к ним со «всем нарядом» своим.

Около 862 года было, очевидно, изгнание очередного князя из Новгорода, и на некоторое время Новгород оставался без «наряда», то есть без администрации княжеской. Только и всего!

Нам известно, что уже около этого времени «ряд» с князьями и изгнание неугодных князей были в ходу у новгородцев. Так, покняжил у них и Святослав, и сын его Владимир, и Ярослав Мудрый. Князья были «нарядчиками» в этом городе.

Главное зло неверного перевода слова «наряд» состоит в таком умозаключении, что раз не было порядка, значит было нечто противоположное, а именно беспорядок, бесчинство, развал, неурядица.

А между тем известно, что в эти времена древнерусский народ уже выделялся среди других народов своей государственной мощью, богатыми городами (скандинавы называли Русь «страной городов»), развитой грамотностью (вспомните хотя бы берестяные новгородские грамоты, начиная от XI века, найденные во множестве А. Арциховским именно в Новгороде).

Новгородцы имели вечевое устройство, как и другие большие города на Руси. А это было для тех времен весьма прогрессивным устройством.

Поэтому не дóлжно нам мириться с традиционным, но заведомо ложным переводом одного из ответственных мест нашей Начальной Летописи.

## СОДЕРЖАНИЕ

### I



### II

*ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!*

*Присылайте ваши отзывы о содержании книги, а также пожелания издательству.*

*Укажите ваш адрес и возраст.*

*Пишите нам по адресу: Москва, А-30, Сущевская, 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.*

*Югов Алексей Кузьмич*

СУДЬБЫ РОДНОГО СЛОВА

М., «Молодая гвардия», 1962, 176 стр.

Редактор *Вл. Сякин*
Художник *Р. Лебедева*
Худож. редактор *Н. Печникова*
Техн. редактор *И. Егорова*

А05581. Подп. к печ. 19/V 1962 г. Бум. 84×108 1/32.
Печ. л. 5,5(9). Уч.-изд. л. 8,4. Тираж 95 000 экз.
Заказ 125. Цена 40 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

40 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ